

ПОГЛЯДА
ШАРТА

НОЧНОЇ
СЮЖЕТ
НОВОСТЕЙ

Одесса
Optimum
2015

УДК 821. 161. 1(477) - 3
ББК 84 (4Укр-4Од-2О) -4
III 25

*Для обложки использована работа Евгения и
Оксаны Осиповых «Огни в тумане»*

Людмила Шарга

III 25 Ночной сюжет новостей: стихотворения,
публицистика. – Одесса: Optimum,
2015.
– 202 с.

ISBN 978-966-344-620-2

В книгу «Ночной сюжет новостей»
вошли новые стихотворения и фрагменты
из дневника автора.

Книга адресована широкому кругу
читателей.

**УДК 821. 161. 1(477) - 3 ББК
84 (4Укр-4Од-2О) -4**

©Шарга Л. В., 2015

©«Optimum», 2015

ISBN 978-966-344-620-2

Автор благодарит

издательство «Optimum»
за помощь в издании книги,

художников Евгения и Оксану Осиповых
(Владивосток, Россия).

НОЧНОЕ
БЮДЖЕТ
НОВОСТЕЙ
СЛУХОТВОРЕНИЯ

НОВОСТИ С ЮГА

Безмолвие кариатид

Мы жили тогда на планете другой...

Георгий Иванов

Надменны и царственны с виду,
но кроток и светел их взгляд,
нежнейшие кариатиды
привычно у входа стоят.
Окутаны тайной их лица
и мраморных плеч белизна...
им тоже ночами не спится,
вздыхают они допоздна...
Дождями больні и стихами,
(их эта весна тяготит),
томительно ветра дыхание
в безмолвии кариатид.
В томлении том молчаливом
моя проступает тоска
о серебролистных оливах,
о белых жемчужных песках.
И розово море и ленно,

и весело чайки кричат...
и – словно одна во вселенной –
я время держу на плечах.
Но воды сменились песками,
кровь стала лозой и вином,
безмолвствуют древние камни
о призрачном мире ином.

А здесь в предвечерней прохладе,
шалльные цикады поют,
и я по старинке – в тетради – пишу...
А быть может – стою,
надеждой отчаянье грею,
и слышу, как чайки кричат,
и окаменевшее время –
как прежде – держу на плечах.



О море

А я о море зареклась писать...
Что ни скажи – покажется вторичным.
Ему пропеты тысячи осанн
и человечьим племенем и птичьим.

Но только-только стрелки на часах
к полуночи –
Несбывшемуся внемля,
я снова поднимаю паруса
и покидаю суетную землю.

По курсу – прямо – острова лежат,
те, что во сне привиделись однажды,
и тихо повторяя: так держать!
я отпускаю парус свой бумажный.

Пусть кто-то адекватный своё «ква»
вдогонку резюмирует весомо,
ни мнения – ни звания:
острова –
единственная цель ночей бессонных!

И всё ж... о море спеть не премину.
Здесь ветром – вдох, а выдохом – прохлада.
И на берег сбежавшую волну
успею на прощание погладить.

Неперелётная птица

Воронцовскому маяку

Неперелётная птица моя,
где твоя вотчина,
где твоя стая,
если однажды ты петь перестанешь,
люди пути не отыщут в морях.
Через густую туманную взвесь
с моря доносится крик твой тоскливый,
и замирают в смятенье оливы,
слушая голос нездешних небес.
За морем, знамо – другая земля:
бел-берега да смарагдовы воды,
может и правда, оттуда ты родом,
неперелётная птица моя?

Может быть, спишь ты и видишь во сне:
птиц перелётных летят караваны
над серебристою дымкой туманной...
За морем, знамо – в диковинку снег.
Крик твой однажды услышала я,
столько печали в том крике таится...
и в тот же миг догадалась: ты – птица,
неперелётная птица – маяк.

И с той поры поселилась тоска
в сердце моём о несбывшихся странах,
и берedit задремавшие раны
птичья тревожная песнь маяка.



* * *

Обманчиво последнее тепло,
и кажется, что лето не ушло,
а притаилось в зарослях акаций,
и можно к морю по утрам спускаться,
встречая стайку чаек на пути,
и череду летучих паутинок,
и капли солнца в гроздьях винограда,
густые тени,
раннюю прохладу...
И только сны о тёплых берегах
напоминают – ты в пяти шагах
от осени.

Тепло плывёт куда-то.
За первым листопадом,
виновато,
вернутся запоздалые дожди,
и тонкий хруст полупрозрачных льдин
кольнёт под сердце утренней иглою.
И обернётся золото золою,
и инеем застынет на песке,
на старом пирсе,
на твоём виске...

По осени

Остановиться, оглянуться... Александр Аронов

По осени стихи считая,
в неблизкий собираюсь путь,
чтобы прибиться к птичьей стае
и с облегчением вздохнуть.
Без сожаленья, без агоний,
презрев все «можно» и «нельзя»,
и там, на дальнем перегоне
припомнить всех и всё *и в с я*.
Остановиться, оглядеться –
как жизнь-злодейка хороша...
И бабочкой,
едва дыша,
впорхнуть в безоблачное детство.
Принять удачи и потери,
и неизбывную печаль,
друзей, врагов, родимый берег,
земной удел, земной причал.
И не роптать.
И год за годом
сносить невзгоды, непогоды,
хулу, хвалу и суету...
По осени стихи считаю,
пищу,
в земной удел вырастаю,
и, стало быть, ещё расту?

Синие города

Вере Зубаревой

*«...Марта твоя с большим любопытством
осмотрела мою комнату. Не уверена, удостоила
ли она меня взглядом, но это сущие пустяки. Ну
и я тоже чуть подвинула её в сторону, чтобы
лучше разглядеть вид из окна. Она, впрочем, не
обратила на это внимания...»*

Из письма

Из моего окна –
не океан, не горы,
не подмосковный лес,
не вологодский плёс...
Из моего окна
как на ладони – город:
палубы пёстрых крыш
под маяками звёзд.

Шумное море – день,
тёплое море – вечер,
лунное море – ночь,
и океан – заря...

В городе детства, где
каждый твой шаг отмечен,
сердцем давным-давно
брошены якоря.

Мачты телеантенн
в звёздную высь взмывают,
и парусами – синь,
и парусами – даль.
В будничной суете
многое забывая,
в сердце своём храни
Синие Города.

Выгляни из окна:
не океан – не горы,
не подмосковный лес,
не вологодский плёс...
Старый одесский двор,
синий корабль-город,
палубы пёстрых крыш
под маяками звёзд.



С морем говорить...

Молчать у моря –
с морем говорить,
сорить словами,
рифмами сорить,
все планы отменив и перепував,
счёт потеряв секундам и минутам,
стоять у самой кромки – на песке.

Пускай весь мир висит на волоске.

Пускай покой давным-давно потерян...
Мой вечный черновик – мой вечный берег
меня зовёт,
и ходики стучат,
и новый день касается плеча,
вчерашнюю беду в стихи сшивая;
спешу, пока дышу,
пока жива я,
с утра из дома выйдя налегке,
оставить след на девственном песке:
слова ли одинокие,
стихи ли...
чтобы коснуться дремлющей стихии,
пера обломок сохранив в руке.

Пусть судьба висит на волоске.

Но для души отрада есть иная:
молчать у моря,
небо вспоминая,
сорить словами,
рифмами сорить,
молчать у моря –
с морем говорить.



Старый город

Старый город,
мой друг,
мой недруг,
дремлет время в твоих недрах.
Снов обитель,
обитель тайн,
книга вечных земных скитаний.
Здесь на улицах – на страницах –
мой жизни, стихи и лица
были – руницей,
были – вязью,
о себе говорила **аз** я.
Помнишь, город,
как мне дарил ты
переулочков лабиринты,
тихих дворигов свет неброский,
листопады – стихов наброски.
Грустью-горечью – не весельем –
приворотное держит зелье,
крепко держит – не отпуская, –
стала каменной соль морская.
Город-сказочник, город-рыцарь,
может, мне доверился зря ты,
рассказав, на какой странице
от ворот твоих ключ спрятан...

Снарядив кораблик бумажный,
я покину тебя однажды,
чтоб
вернуться к твоим причалам,
чтобы заново,
чтоб – с начала
раствориться в твоих недрах.
Старый город,
мой друг – мой недруг...



Пробуждение

Поймёшь однажды,
что он – другой,
твой город – чуждый и незнакомый.
По тёмным улицам, как изгой,
пойдёшь, пугаясь пустот оконных.
Всё в этом городе, как всегда:
и каждый встречный и камень каждый,
но ты проснулся,
а явь-вода,
не утоляет ни боль – ни жажду.
Воспоминаний полна река,
а ты по-прежнему – пленник тела,
плывёшь и помнишь, что ни глотка
из вод манящих не можешь сделать.
Что остаётся?
Стихи писать,
тепла остатки бросать на ветер,
и стать последним из Бодхисаттв*
не усомнившись, что мир твой – светел.
Но только...
вынесешь ли, скажи,
свой путь без отпусков и вакаций?
Ведь, чтобы не было больно жить,
порою лучше не просыпаться.

*Бодхисаттва – здесь, буквально: «существо с пробуждённым сознанием»

* * *

Уже на исходе ноябрь, –
его здесь зовут листопадом...
в тоннеле из арочных падуг
окно освещённое – рядом,
а там – за окном – канделябр.

Туманно, тревожно, тепло...
Все новости с юга – статичны,
и хмурится небо привычно,
и вычерчен клинышком птичьим
ноябрьский абрис – без слов.

В свеченье ночных фонарей
изящней мостов силуэты,
печальнее – профиль поэта,
и встречные люди – добрей...
Молчит обнажённый платан,
уставший от летнего зноя,
и кошка так схожа со мною
и кариатида –
вон та...

Ноябрь заучу наизусть,
до самой последней страницы;
Из рук моих будет кормиться
тревожная тёмная птица –
осенняя светлая грусть.

Мимолётные стихи

Что бы кто ни говорил там,
но Господь меня простил,
этих улиц лабиринты
на ладонях расчертив.
Я хожу по ним, вздыхая –
просто кругом голова –
и становятся стихами
эта палая листва,
это дышащее море,
эти стылые пески,
и, поющие зимою
песни юга, маяки:
«За морями-берегами
есть такие острова...»
Но становятся стихами
мимолётные слова,
что летят легко и мимо
откровеньем новых книг.
Я от них неотделима.
Я давно одно из них,
что летит себе, вздыхая,
среди словесной чепухи...
Я не прячусь за стихами,
я – и есть мои стихи.

ВКУС ДЕКАБРЬСКИХ ДНЕЙ

Уходят праздники

Морозный воздух, будто ладан,
дымится в сумерках чернильных,
и пахнет горьким шоколадом
и апельсином, и ванилью.
Впадают в линии ладоней
сюжеты святочных историй,
уходят праздники,
и в доме
всё холоднее,
всё просторней.
В какой-то спешке несурзной
мы вслед им смотрим виновато,
и времяпровожденьем праздным
размениваем то, что свято.
Уходят праздники из дома
к воспоминаниям и вздохам,
в страницы старого альбома,
где что ни снимок – то эпоха.

В осколки праздничной посуды,
в пакеты с мусором – на свалку,
и в кухонные пересуды,
где всё ни шатко – и ни валко.
На белой скатерти измятой
следы обильных угощений,
но всё, что праздну, то не с в я т о,
и с в я т а* нет,
и нет прощения.
Альбомы заполняют полки,
парадные тускнеют залы,
и осыпаются иголки
сухими колкими слезами.



*Свято – праздник (укр.)

* * *

Юрию Бунчику

Из неальбомного...
Из раннего.
Из сукровицы строк израненных,
где робкая и неокрепшая,
болит любовь неотболевшая.
Где прошлое, как настоящее,
жжёт обнаженностью саднящую,
где одиночество знакомое,
как боль,
как темень законная...
Где откровенна – до отчаянья,
возвышенная и печальная
и в радости негромкой – грустная,
живёт душа поэта русского.



Плачет утро...

*Ничего на свете нет,
Что мне стало бы родней,
Чем летучий детский бред
Нищей памяти моей.*

Арсений Тарковский

Плачет утро.
И тающий снег
множит холод несмятой постели,
и круги под глазами, и тени,
что когда-то давно были *теми*,
а теперь только слёзы о *тех*.
Не о них ли сегодня я лью
эту горько-солёную влагу
у черты,
до которой – полшага,
у которой всё чаще стою.
Там, где ниточка-жизнь во вчера
обрывается –
стало быть – тонко...
память – нищенка с ветхой котомкой
одинокое бредёт по дворам.
Из вчера собирая меня,

у живого огня оживляя,
горе нитью суровой сшивая,
колокольчиком медным звеня.

Открывая десятки щеколд,
выпуская волнующий запах,
мандариново-хвойный
внезапный...

Кот пушистый на «бархатных» лапах
по вечернему снегу идёт.

Мне туда.

Там, где просто летать,
и лететь по ожившим страницам,
и смеяться, и громко браниться,
и бесшумно скользить, словно тать,
там, где тени ведут хоровод,
и дрожит голубое сияние...

Память-нищенка за подаянием
осторожно дворами идёт.



Лоскутки

Лист мелиссы,
мятное варенье,
запах распустившейся сирени,
мамина перчатка цвета беж,
горсточка лавандового цвета,
на московский скорый – два билета...
Лоскутки несбыточных надежд
спят в заветной маленькой коробке.
Прикасаюсь трепетно и робко
к памяти, к ожившей тишине,
к пыльному и выцветшему фетру,
ко всему тому, что кличут «ретро»,
ко всему, чего давно уж нет.
Жизнь – спектакль, переодеванье...
Но в тени – на стареньком диване –
в уголке, где прячется торшер,
первые шаги и слово – сына,
первый снег и брызги апельсинов,
первый лёд в растерянной душе.
Я храню в картонке из-под шляпки
призрачных надежд своих охапки,
лоскутки лелею, чуть дыша.
Дороги душе обрывки эти...
Засыпаю только на рассвете,
и парит на крыльях сна душа.

Черешневое

О том, что заснеженный город нежен,
нашёптывали с утра,
несущие палый цвет черешен,
приснившиеся ветра.

И сердце, отравленное досадой,
забилося сильнее во сне,
едва у ворот городского сада
черешневый выпал снег.

Я этой танцующей нежной стаи
легко касалась рукой,
боясь, что она вот-вот растает,
как сон мой,
как мой покой.

Темнели чужих
сновидений тени
и льнули к моим плечам,
как будто услышать о том
хотели,
о чём наяву молчат...

Взлетали, кружась,
лепестки-скитальцы
и падали в никуда,
и было тепло,
но озябли пальцы,
светало...
Синела даль.

И там далеко,
в нашем старом доме,
на самом земном краю,
ты тихо баюкал в своих ладонях
согревшуюся мою.



Там, в конце декабря...

Старая-старая сказка,
рассказанная с утра,
к вечеру не исчезла,
став мимолётной былью;
в ней и сюжет бесхитростен,
в ней и мораль добра:
просто люби, не требуя,
чтобы тебя любили.
Там – в конце декабря –
на дне уходящего дня
тонкая ткань сумерек
отсвечивает лиловым,
и силуэт серебряный
дрожит,
за собой маня,
и где-то рядом звенят
серебряные подковы.

Тихо спустись по лестнице,
не обернувшись, – пусть
старая-старая сказка
летит за тобой следом,
и от тоски останется

только светлая грусть,
и как ненужный груз
канут в прошлое беды.
...Там – в конце декабря –
на дно уходящего дня
тенью лиловой скользни
мимо дверного всхлипа,
чтобы коснуться синего
сказочного коня
и улыбнуться снегу,
который под вечер выпал.

...там, в конце декабря,
на дне уходящего дня...



Пасторальное

Что ж вы натворили, Гриммы...

Вероника Долина

Зима в заброшенном саду.
Ладоням – зябко,
сердцу – зыбко.
Сочельник первую звезду
раскачивает в синей зыбке.
И проступают из вчера
в неярком, приглушённом свете
малютка Гензель,
крошка Гретель,
и оживает пастораль.

Мороз по вечерам крепчал,
топилась жарко в доме печка,
казалось, сказка будет вечной,
покуда теплилась свеча.
Румянец на моём лице
с мороза цвёл легко и ало,
варенье с ложечки стекало,
и снились косы Рапунцель.

Плыла зажённая свеча,
струился синий свет вечерний,
неслышно в дом входил Сочельник,
и дом таинственно молчал.
И сумасшедшие ветра
всю ночь раскачивали звёзды,
и не горчило слово «поздно»,
и не смолкала пастораль.

Стою на маленьком крыльце,
припоминая сказки эти:
малютку Гензель,
крошку Гретель
и колокольчик-Рапунцель.
И беспокойные ветра
звезду вечернюю качают,
и льётся над земным причалом
рождественская пастораль.



Заигралась девочка в куклы...

Заигралась девочка в куклы...
Вот домишко кукольный – утлый,
вот сундук с нарядами – ветхий,
здесь на каждом платьице – метка,
вышитая ирисом алым;
кружевное платье – для бала,
к золотой тесьме амазонки –
длинный шлейф, летящий вдогонку.

Шляпы, парики и перчатки –
этого у куклы в достатке,
жить да жить бы – не умирая,
знать бы, кто тобою играет...
Кто тебе, как маленькой кукле
пудрит поседевшие букли,
и вздыхает, сняв диадему:
«Седина... куда её дену?»

Но однажды кукла исчезнет...

Девочку от странной болезни,
от видений домиков утлых

вылечит осеннее утро.
Девочка, тоскуя о кукле,
платье с алой меткой наденет,
увенчает белые букли
чёрным гребнем – как диадемой.
Тихо перед зеркалом сядет,
зеркало подёрнется рябью,
там седые букли над ухом
медленно поправит старуха.



* * *

Голос иллюзий – эхо пустых комнат,
эхо былых надежд и побед вчерашних,
тени иных времён,
что ещё помнят,
как говорить легко
и молчать не страшно,
и ворожить на рунах и птичьих стаях,
и воскрешать стихами древние руны,
слушать, как тишина томно вздыхает,
перебирая сонных дождей струны.
Но заполняют заброшенный дом тени,
и до утра пляшет огонь в камине,
о сокровенном просто молчать с теми,
чью теплоту безмолвие не отнимет.
Сколько их шло мимо, таких разных,
то беспричинно радостных – то печальных,
и наполнялись дни болтовнёй праздной,
в страхе перед безмолвием и молчанием.
И утешалась боль ласковой ложью,
и возводила ложь замки и башни,
и уходили те, с кем молчать можно,
и оставались те, с кем молчать страшно.

Или приснилось –
или наворожила...
Всё, чем жила, будней мотая пряжу,
всё, в чём покаялась,
всё, в чём согрешила –
пёрышком птичьим утром в ладонь ляжет.
И – не дыша...
только б ещё малость,
только б тепло не кануло в день вчерашний,
чтобы в душе память о тех осталась,
с кем говорить легко
и молчать не страшно.



И образы восходят к образам...

Елене Кукловой

В правдивость жизни возведя игру,
чужую боль переживёт актриса,
и вечная цветаевская грусть
легко вздохнёт над бархатом кулисы.
И образы чисты, как образа,
теплом души и голоса согреты,
исполнены гармонии и света,
и слёзы и улыбки,
и глаза...

И что ни взгляд – в Прекрасное окно,
где вёсны грезят тополиным летом,
где жертвенное пламя бересклета
предчувствием зимы напоено.
И голос-Птица окрыляет зал,
в котором восхищённый зритель замер,
и образы восходят к образам
и светом горним спорят с образами.

Человек стихов не понимает

Человек меня не понимает,
словно он – слепой, а я – немая,
и пишу на мёртвом языке.
Он не зря живёт на белом свете,
у него жена, собака, дети...
У него синица спит в руке.
Человеку мой стишок не нужен,
он бифштексы с кровью ест на ужин,
у него приличная семья.
У него контракты и кредиты,
может быть, поэтому сердит он
на таких бездельников, как я.
У него престижная машина,
он – герой,
он богвозни мышиной,
а супруга – чистый силикон.
Я же птичка вольная – «ботаник»,
он клянётся, что меня достанет,
только я и правда – далеко.
Человеку странный сон приснится:
улетит сусальная синица,
сядет яхта белая на мель,
и, взмахнув как крыльями, руками,
человек узрит за облаками

краешек лавандовых земель.
Будет вечер нежен и пастелен,
Будут мёдом пахнуть иммортели...
Будет всё легко и – налегке.

Человек стихов не понимает,
он такую тяжесть поднимает,
он синицу держит на руке.



Колыбельная для матери...**Т. О.**

Сына в стылыйй день воскресный
отпустив, усни.
Ангел да Отец Небесный
будут рядом с ним.
Ноша скорби да печали
упадёт с плеча,
колыбель его качает
горняя печаль.
Там, за тополиным пухом
да за мотыльком,
по ромашковому лугу
мчит он босиком
к лесу, а за лесом – речка...
(так всегда в раю...)
Спи, уставшее сердечко,
баюшки-баю.
Спи.
Пускай тебе приснится
взмах крыла-руки,
в золотом тепле пшеницы –
льдинки-васильки.

Спи.
На краешке кровати
да на том краю,
где с лихвою горя хватит...
Баюшки-баю.
Где огонь свечи церковной,
тлел в твоей горсти,
где в декабрьском небе тёмном
солнца луч гостил.



Вкус декабрьских дней

Всё суше,
всё тревожней зимы,
всё иллюзорнее весна,
у дней декабрьских вкус кизила
и цвет сливового вина.
Там жар неволи иль охоты,
неровным пламенем дрожит:
от зимнего солнцеворота
до равноденствия дожить.
Далёкая звезда пробьётся
сквозь утра аспидную мглу,
вонзит вернувшееся солнце
в туман горячую иглу.
Взорвётся утро голосами,
чтобы до ночи не смолкать,
и обернутся парусами
пурпуровые облака.
Оставить дом,
и плыть за ними,
на свет рождественской звезды,
забыть лицо твоё и имя,
и вкус колодезной воды.

Давно оплачены с лихвою
простые правила игры...
Но вновь декабрь,
и запах хвои,
и золочёные шары.
И пробуждается ребёнок
во мне,
угасший от забот,
и лунный серп
всё так же тонок,
за первую звездой плывёт.
И приснопамятные лица –
как свечи – в сумраке горят,
где на ладонь мою ложится
последний лист календаря.
Всю боль – до капельки –
изымет,
на миг воспряну – спасены...
Переживём и эту зиму,
у дней декабрьских вкус кизила
и запах будущей весны.



УТРЕННЯЯ ПОВЕСТЬ

Есть такое чувство – родина...

Двери настежь.
Вещи собраны,
и дописана тетрадь.
Вспоминай меня по-доброму,
если будешь вспоминать.
Не залётным приключением –
летом каждый смел и юн, –
сумасшедшую,
ничейную,
непутёвую – твою.
Ворожейку синекрылую
не кляни и не теряй,
тайну, что тебе открыла я,
никому не доверяй.
Ты забудешь –
мне припомнится
свет твоих неярких звёзд,
у дороги за околицей

на семи ветрах погост.
Словно пеплом припорошены
придорожные кусты,
там, среди могил заброшенных,
ни тщеты, ни суеты.
Холодок по краю катится,
разделяя навь и явь,
девочка в цветастом платице
машет мне рукою...
я,
не боясь прослыть юродивой,
босиком иду на свет.
Есть такое чувство – родина,
даже если места нет...



* * *

Попробуем заснуть под пятницу...

Юрий Визбор

Дожди по четвергам,
снега по пятницам,
и катится куда-то жизнь,
и катится.
А по субботам – солнце и ветра...
надежд не воскрешают воскресения,
и утро снова смотрит по-осеннему,
и пропадают дни и вечера.
Исчезли понедельники и вторники –
их начисто смели с листвою дворники,
что убирают двор наш по средам.
Но есть ещё она – моя бессонница:
из сброшенной листвы взлетает конница,
и падает счастливая звезда.
И снова по привычке жизнь покатится,
перемешает четверги и пятницы,
а мимо будут мчаться поезда.
Дорога, как и песня, не кончается,
и в дождь и в снегопад над ней качается
далёкая счастливая звезда...

Утренняя повесть

Читаю пригородный поезд,
как будто утреннюю повесть,
в ней лики, личики и лица,
в ней пахнут яблоки корицей.
В ней всё – от корки и до корки,
едва ли доберусь до сути,
но осознание будет горьким –
как подобает книге судеб.

В ней ветхим кружевом застелен
изгиб старинного комода,
и тонкий запах иммортелей,
что всё сильнее год от года,
и летний полдень тих и ласков,
и я...

Да полно,
я ли это?

Стрекоз неистовая пляска.

Июль.

Жара.

Макушка лета.

И дальний пруд, заросший тиной,
и близкий взгляд, быльём поросший,
и капли солнца в паутине,
и тополиная пороша...

Но обрывается внезапно
любой сюжет на этом свете,
лишь остаётся тонкий запах
неувядающих соцветий.

Всё дальше поезд змейкой узкой,
всё ближе туча грозовая...
А иммортели я по-русски
бессмертниками называю.



Обречены...

Нам эту осень пить и пить взахлёб,
и жаждою страдать неутолённой,
и сад наш вспоминать – ещё зелёный,
и слушать как похрустывает лёд.

Мы попросту с тобой обручены
с осенней неразгаданной печалью,
с дымящими каминными печами,
которые, как мы – обречены.

Мы стали старой песенкой сверчка –
запечных дел лихого подмастерья.

Обречены...

без криков, без истерик,
мы четверть века – об руку рука.

Обручены с нелепой тратой дней,
обручены с тревогою ночью,
и если вдруг душа моя занает,
твоя сейчас же отзовется ей.

И утишит проснувшуюся боль,
и отогреет словом иль молчаньем.

Обречены...

Обручены с печалью,
мы четверть века пьем её с тобой.

Обручены.

И об руку рука,
из года – в год ступаем осторожно.
Не разглядеть следов в пыли дорожной,
и тяжела вода,
и соль горька.
Но мёдом соты до краёв полны,
и на сносях антоновка за домом,
Мне кажется порой, мы не знакомы,
мы попросту с тобой обручены –
быть об руку рука обречены.



Два яблока

*За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.*
Марина Цветаева

Наш сад почил в безвременье.
А я
иду в его заснеженную память
стихов «александрийскими столпами»,
полночным жарким выдохом: твоя...
Полуденным касанием щеки,
души прикосновением вечерним,
печалью женской, нежностью дочерней,
мне б только знать, что тлеют угольки.
Я выпрошу у времени взаймы
одну лишь ночь – осеннюю, слепую,
чтоб отвести беду и дуру-пулю,
чтобы успеть до снега, до зимы,
на тот пустырь, где был когда-то сад,
а стало быть, и жизнь была и била.
Свидетели того, что я любила –
два яблока на веточке висят.
Спешу – крепчает, тешится мороз –
озябшие ладони им подставить;
на тонкой коже тихо тает наледь,
и больно мне от яблоневого слёз.

Не о том

Не о том с тобой говорю,
и молчу с тобой не о том я,
как обычно – по октябрю –
обострилось моё бездомье.
И пригрезились пустячки –
беспользные безделушки,
балерины и пастушки
и кокетливые пастушки.
Я во сне прикасалась к ним,
я шепталась о чём-то с ними,
коротала остатки зим,
повторяя в молитвах имя
незнакомое,
не твоё,
уводящее за собою,
в домик маленький,
где плывёт
старый лодочник на обоях.
Где теряется давний след
в безмятежье по бездорожью,
где живое тепло и свет,
где всё те же,
и где всё то же...

Как бы мир ни сходил с ума,
есть домишко одноэтажный,
пусть беспомощен, пуст и мал,
он всё тот же,
В нём я всё та же...
Пусть останется он таким:
печка, свечи, Дюма и Пушкин...
беззаботные пастушки,
нестареющие пастушки.
Там плывёт на тепло и свет
старый лодочник на обоях...
В лодке маленькой мы с тобою,
для других её просто нет.



Показалось...

Не приходят стихи.
Показалось?
Не тревожат, не ждут, не зовут.
И растёт пустота,
и усталость обратила покой в неуют.
То ли саван безмолвие вяжет,
то ль тенета плетёт немота,
серых будней посконную пряжу
мне теперь будет проще мотать.
Средь житейских невзгод и угодий,
в бытовом перманентном аду...
Не приходят стихи.
Не приходят.
И возможно, уже не придут.
Значит, время вздохнуть облегчённо:
наконец-то, как все заживу.
Не иллюзией жизни никчёмной,
не химерами снов – наяву.
Ни видений, ни образов прежних –
лишь печать немоты на устах,
но с пугающей силой безбрежной
за плечами растёт пустота.

В ней мои воплощенья искали
надпись «выход», где выхода нет,
а потом из глубин зазеркалья,
из миров, где рождается свет,
вышел странник седой и угрюмый, –
что подносит к губам зеркала,
тихо вымолвил:
«Так я и думал...
Не жила.
Не жива.
Умерла...»



После жизни...

Стану я молчаливой затворницей
в захолустном нездешнем краю,
по утрам в моей маленькой горнице
будет слышно, как птицы поют.
Горихвостки, малиновки, зяблики
прилетят не во сне – наяву,
и тяжёлые спелые яблоки
упадут на рассвете в траву.
Все печали и скорби излечатся,
лишь войду в зачарованный сад.
Вспомню отчество,
вспомню отчество...
Семь холмов,
девять жизней назад.
И без имени
и без фамилии –
по тропинке пойду налегке...
Туберозы и белые лилии
будут льнуть к моей тонкой руке.
Ни души...
Захолустье.

Урочище.

Вечный мой зачарованный сад,
где вершится бывшее пророчество,
как тому девять жизней назад.

После каждой, – как после молчания,
вперемешку с цветами – стихи
вырастают из боли и чаяний,
отпуская и боль и грехи.



И кто-то говорит: Иди...

*Она жила в сиреневом лесу
в полном одиночестве.
Она была очень стара,
хотя не знала об этом...*

**Питер Бигл
«Последний единорог»**

Оправа долгих дней моих
давно оплавлена ночами,
и я уже, признаться, их
не помню и не различаю.
Пишу, и стало быть – живу,
какие тут, скажи, различия...
И неуёмную молву,
как эту перепалку птичью,
давно безропотно сношу,
почти безропотно приемлю,
живу, а стало быть – пишу,
тихонечко вращая Землю.
Пытаюсь быть сама собой –
ни злой, ни доброй, ни хорошей,

одарена двойной судьбой:
под одежкой скоморошей
скрывается единорог,
и я – притворщица немая,
переступая дня порог,
колпак с бубенчиком снимаю,
и снова становлюсь одной
из тех, кого зовут дороги,
и где-то, рядом – стороной
идут мои единороги.
И свет мерцает впереди,
и ночь преображает лица,
и кто-то говорит: «Иди...»,
и не даёт остановиться.



Март начинался...

Март начинался воскресеньем –
туманным, серым и дождливым.
Март начинался с потрясения,
с людей смурных и говорливых.
Одни – хулу и злобу сеяли,
другие – горестно молчали.
И воскресение весеннее
текло печалью...

Март начинался с воскресения
и обретения покоя,
и звон в долину дня весеннего
летел с окрестных колоколен.
«...Пусть каждому – да по делам его...» –
молитва вспомнилась простая...
И опадал туман,
и ангелы
на землю грешную слетали.

И жизнь казалась наваждением,
и смерть была неумолима,
и пролетали дни рождения,
как сны несбыточные – мимо.

И чувства становились узами,
и вожденною свобода,
и приближался он – неузнанный –
момент ухода.

Слова молитвы о спасении
в свечном угаре растворялись.
Март начинался воскресением.
Мы умирали и рождались,
любви просили и терпения –
лампада теплилась резная...
и проживали день *успения*,
о том не зная...



Последний снег

Как-никак – перезимовали,
свет надежды вдали блеснул.
Ну, а что холода, едва ли
в этом стоит винить весну.
Не сыскать отголосков летних
в воробьиной шумной возне,
и кружит над землёй последний,
непутёвый апрельский снег.
Тот, который летит и – тает,
тот, которого ты не ждал,
им зима второпях латает
обветшавшие холода.
День апрельский...
Звонят к обедне.
Тронул лужицы тонкий лёд.
Тихо падает снег последний
и больше, чем первый, бьёт...
Как-никак – перезимовали,
скоро станет совсем тепло...
Стол стихами к утру завален,
значит, мир наш не так уж плох?..
Значит, побоку чьи-то сплетни,
хватит солнца с лихвой – для всех...
Тихо падает снег последний,
непутёвый апрельский снег...

НОЧНОЙ СЮЖЕТ НОВОСТЕЙ

Ночной сюжет новостей

Сестре

...ночной сюжет новостей
привычен и предсказуем
один за другим падают памятники
люди воюют с камнем
это предельно просто
свалить с пьедестала вчерашнего идола
куда проще
чем убирать обломки на площади
куда проще
чем воевать
с идолами в себе
здесь мы заведомо обречены
на поражение

Не говори мне о свободе

*Не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать.*

Ис. 2:4

Не говори мне о свободе.
Мы все стоим на переходе —
нам нужно площадь перейти,
и н о г о н е т у н а с п у т и.

Мы вспоминали вкус свободы...
и становились кровью воды,
и пеплом стал крещенский снег...
Свобода на устах у всех.
Забыв пророчество Исайи,
её, как кость, рабам бросают,
за эту кость голодный раб
служить рабу другому рад.

Не говори мне о свободе.
Там люди площадь переходят,
и может статься – перейдут.
Горит земля и там – и тут.
Кругом разверстая геенна,
шакалы воют, и гиены
из подворотен скалят пасть...
Не дай нам, Господи, пропасть
на этом страшном переходе,
где мы судачим о свободе.
И упаси нас от свобод,
что обещает переход.
Оборони от мук, от боли,
и дай нам волю.



* * *

Эта книга
ещё не дочитана,
но я знаю,
чем всё закончится,
от спокойствия
нарочитого –
не от боли
придётся корчиться.
Здесь прозрачны
сюжет и фабула,
здесь герои
с юными лицами...
только жизнь,
что ещё
вчера б ы л а,
стала
вырванными страницами.
Эта книга не нами начата,
и не нам писать окончание,
только в списках погибших значатся
наше завтра
и наши чайня.

Отпускают детей
родители...
не пленённые и не пленные,
побеждённые
победители –
убиенные...
Душам отданы кущи райские,
кровь пробьётся
гроздью калиновой,
горькой
сукровицей
февральскою,
журавлиною*.



* Журавлина – одно из названий клюквы на Руси. В современном украинском языке – клюква.

Приезжай...

«Приезжай, – говорит сестра, –
отпою настоем из трав,
заварю душицу, чабрец,
хмель с малиной.

Чтоб тревогу и боль унять,
чтобы тяжесть и морок снять,
чтоб душа посветлела и
не кровила.

Отдохнёшь, – говорит сестра, –
посидим с тобой у костра,
а надумаешь – насовсем,
нет – так в гости.

(...кто-то пришлый в памяти стёр
древний смысл слова костёр,
не дрова пылали в кострах,
а кости...)

Приезжай...

по весне сойдёт
и растает тяжёлый лёд,
и распустится сон-трава в перелеске».

Рвусь на зов,
на тепло огня,
только он и греет меня,
поделиться бы да всплакнуть,
да не с кем...
«Приезжай, – говорит сестра, –
здесь поют синицы с утра,
станет легче, как бы душа
ни кривила...
Станет легче,
но есть земля,
я давно без неё – не я,
безутешная боль моя,
Украина.



Абрикосовые косточки

Скорый поезд далеко стучит,
море дышит глубоко...
Абрикосовые косточки
мы кололи вечерком.

На песке валялись рядышком,
в черепаховых очках,
абрикосовые ядрышки,
зажимая в кулачках.

Были сплошь исповедальными
наши взгляды и слова,
и от запаха миндального
чуть кружилась голова.

Невзначай сползала кофточка
с обгоревшего плеча...

Абрикосовые косточки,
как положено – горчат.

И летели, плыли, ехали –
абрикосовые дни,
но поспевшими орехами
нас сентябрь соблазнил.

И глядят глаза раскосые
из окон чужой судьбы.

Было лето абрикосово,
были дали голубы.

Скорый поезд далеко стучит,
кролик спит в своей норе,
абрикосовые косточки
дети колют во дворе...

* * *

в Старом городе –
здесь говорят Старе місто –
есть одна улица
если пройтись по ней
то можно услышать как
где-то
под мостовой
молчат колокола церкви Святой Ирины
их молчание оглушительно
вот и
лёгкая женская тень
вздрагивает
наверное один из колоколов –
полиелейный –
молчит слишком громко
не так давно
здесь ещё стоял последний Ирининский столп
но люди всегда воевали с памятниками
тень Ингигерды – великой княгини киевской
(в крещении – Ирина
(в схиме – Анна)

прилетает слушать
как молчат колокола
Ирининской церкви
тихо-тихо
идём мимо
мне почему-то хочется
назвать тебя
Ингигердой
я знаю
ты отзовёшься
и не удивишься
ну разве что самую малость



Январское. Смотри...

Стихи распадутся на тысячи слов,
мир станет безжизненно бел.
Ты спросишь: какое сегодня число?
Никто не ответит тебе.
Всё сковано чёрным нетающим льдом.
Кричи, если можешь...
Кричи.
Лети снегопадом,
и зимним дождём,
и северным ветром в ночи.
Смотри, как вздымается бездна горой,
как плоть рассыпается в прах.
как гинет в забвенье вчерашний герой,
и другом становится враг.
Смотри, как на брата охотится брат,
и рдеет проклятья печать.
Господь Всемогущий не слышит...
Пора.
Кричи, если можешь кричать.
Смотри, как горячим дыханьем снесло
четвёртый... иль тысячный Рим,
где тысяча тысяч разрозненных слов
смешались и стали одним.
Смотри, как алеет нетающий лёд,
и пылью клубится гранит...
А Слово наутро ребёнок найдёт
и заново мир сотворит.

Божья мельница

В марте всё непредсказуемо,
всё спонтанно,
наобум,
поминаем Бога все мы
да клянём свою судьбу.
А она – судьба треклятая –
ни плоха – ни хороша,
на лету ученье схватывай,
не ропща да не спеша.
Можно мартовскими идами
все несчастья объяснить,
иссушить себя обидами –
мол, прядёт Недоля нить,
подгонять невзгоды вздохами,
уповая на авось,
это времечко Евдохою
испокон веков звалось.
Только что теперь печалиться –
слава Богу, что жива,
знаю, медленно возвращаются
эти Божьи жернова.
И чужим глазам не верится,
и проплаканы свои –
вижу только крест да мельницу
в чистом поле на крови...

Не уйти от этой мельницы
ни панам – ни мужикам,
перемены перемелются –
выйдет знатная мука,
чтобы по миру развеяться,
чтобы кровь прикрыть да стыд...
Всё осилит Божья мельница,
перемелет и простит...



Был майский день...*Памяти погибших 2 мая 2014 года в Одессе*

Был майский день ни короток – ни долог.
Летели сарафанные подолы –
их ветер надувал как паруса, –
и детские летели голоса...
Был майский день прозрачен и беспечен,
безудержно цвели каштанов свечи,
и монотонный плеск морской воды
укачивал предчувствие беды.
Плыл майский день ни весело – ни скушно,
на ниточке дрожа, как змей воздушный,
и вечер быть приятным обещал...
Но Времени гигантская праща
уже дошла до точки невозврата,
и вечер, обещавший быть приятным,
вдруг чёрной пеленой заволокло.
Кричали люди.
Лопалось стекло...
И подымались по небесным сходням
из пламени – из самой преисподней –
испуганные души в небеса
под хриплые от крови голоса...

И остывала плоть – души оковы –
на жертвеннике Поля Куликова.
И был удушлив сладковатый чад.
И багровела Каина печать.



Попробуй обойтись...

Девушка пела в церковном хоре...

Александр Блок

Попробуй обойтись без аллегорий,
без приторно-сладкоголосых лир.
Там ненависть раскачивает мир,
где девушка в церковном пела хоре.

Попробуй без проклятий обойтись,
в Свет обратиться
и в Слово обратиться.
Не спи.
На убывающей луне
шепчи:
война,
войной,
войны,
войне...

Оно спасёт.
А если не спасло,
не умножай ни боль,
ни скорбь,
ни зло.

Шепчи на убывающей луне
именослов погибших на войне.

Попробуй обойтись без аллегорий.
Скажи себе: в наш дом пришла беда.
Не **на** день – не на месяц – навсегда,
навек в сердце поселилось горе.

Нет лада,
нет согласия меж людьми,
и ненависть раскачивает мир.

И... девушка поёт в церковном хоре.



Горечь осенних вод

Как грустна осенняя вода...

А. Городницкий

Множится горечь осенних вод...

Дни незаметно идут на убыль.

Чувства немеют.

Зима грядёт...

Шепчут молитвы губы.

Мне бы осенней воды глоток –

и до утра во сне, не страдая,

слушать, как мокрый дрожит листок,

и опадает.

Горечь осенней воды легка...

Тихо зима прильнёт к изголовью,

выбелит замки, что из песка

строят, скрепляя кровью.

Выбелит пустоши и холмы –

землю, распроданную на вынос.

Ни от тюрьмы – ни от сумы,

Боже,

от нас спаси нас.

Тёмная горечь осенних вод

так же близка, как непостижима.

Осень закончится, мир упадёт

в зиму.

Ненависть

Стала вода, как полынь, – горька,
стали друзья нещадней врагов...
Ненависть – проклятая река,
ненависть вышла из берегов.

Гиблая смоль – солоней, чем кровь, –
прочит погибель один глоток,
люди зовут Карачун-горой*
место, где дремлет её исток.

Чёрная смоль обращает в яд
всё, что встречается на пути.
Мы не спасёмся,
ни ты – ни я,
нам эту реку не перейти.

*По одной из версий название горы происходит от названия праздника в честь славянского божества смерти, внезапной смерти в молодом возрасте, злого духа, сокращающего жизнь, – Карачун (Корочун).

Двигается посолонь коловорот,
Омут за омутом...
быстрина.
Не перебраться ни вплавь – ни вброд,
что ж остаётся... испить до дна,
чтоб из грядущего,
сквозь лета
зрети, как всё порастёт быльём.

Гиблая смоль на твоих устах.
Чёрная смоль на челе твоём.

Там упокоятся распри да брань,
(мы лишь игрушки в «большой игре»),
и зарастут шрамы от ран,
скроют пути к Карачун-горе.

Всё это будет.
Ну а пока
слушаю эхо твоих шагов...

Ненависть – проклятая река.
Ненависть вышла из берегов.



Петелька, петелька...

Над пепелищем проигранных битв,
путчей и революций,
в облаке заупокойных молитв
белые бабочки вьются.
Тихие ангелы дальних дорог
ветром сбиваются в стаи.
Петелька к петельке –
выдох!
Вдох...
Время узор сплетает.
Бабочки смотрят в твои глаза
с болью исповедальной,
словно о чём-то хотят сказать
перед дорогой дальней.
Петелька к петельке,
вдох – накид,
быстро мелькают спицы.
Между накидами век наш спит,
мы ему –
он нам снится...?
Не разглядеть ни глаз – ни лица,
Время давно ослепло.

С ангельских крыльев летит пыльца
и оседает пеплом.
Петельки, петельки,
выдох – вдох...
(время – оно не медлит...)
Новые ангелы дальних дорог, –
новые шеи в петлях
здесь, где от сточенных болью бритв,
и от пустот пьедесталов,
от лже-раскаяний, от лже-молитв
небо тяжёлым стало.
Петельки, петельки...
Вдох... накид.
Кто там рядки считает...
Пепел ли,
снег ли с небес летит
призрачной белой стаей?
Кто его нынче знает...



Солоно

Мир этот крепко сшит – да неладно скроен,
каждый кроит заново,
правя край.

Солоно, Господи, в доме Твоём от крови,
льётся и льётся в нём молодая кровь.

Старые шрамы рвут молодые раны,
не перешить, не спрятать –
как ни крои.

Зодчие на Руси возводили храмы
и нарекали Спасами на Крови.

Тихая скорбь –
шатровые колокольни,
без золочёных маковок и крестов.

Дух убиенных там обретал покой свой,
вечную тишь
и вечный горний простор.

Не сосчитать могильных холмов-пригорков,
стонет земля от старых и новых ран.

Солоно, Господи,
солоно так, что горько...

Время пришло закладывать новый храм.
Только...

давно мучаюсь чувством странным:
тешатся позолотой – а нужен Свет!

На перекрёстках высится храм на храме.

Веры у нас как не было –
так и нет.

Вербное. Молитва

*И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других*

М. Волошин

Что-то мы с тобою проглядели,
коль не вспоминаем о стихах,
пролетела Вербная неделя
в суете и в спешке –
впопыхах.
Вот и наступило воскресенье,
серебрится верба за окном,
только день не радуется весенний,
на душе тревожно и темно.
Мне бы да поверить в небылицы,
кто не выдаст,
кто кого не съест,
мне б Страстную пережить Седмицу,
чтоб пролился Благовест с небес.
Пусть он *л е в ы х* боронит и *п р а в ы х*,
в смутную годину,
в трудный час.

чтоб не стало чёрным и кровавым
Воскресенье Вербное для нас.
Господи,
невыносима дыба –
душу рвёт противоречий яд.
«Делай выбор!
Надо сделать выбор!» –
те и эти хором говорят.
Укроти их гнев,
смири гордыню...
Господи, не гневайся на Русь...
Видишь, я стою посередине,
за врагов и за друзей молюсь.



Линия фронта

Тону в бесконечных синонимах слова Отчизна,
черчу пресловутую линию мнимого счастья.
Но линия фронта проходит по линии жизни
и рвёт и кромсает, и режет...

И режет на части.

Как будто свои – не чужие

– вокруг иноверцы,

и не отогреться во взглядах

и не отмолчаться.

А линия фронта проходит по линии сердца,
и сердце от боли вот-вот разорвётся на части.

Я так далеко,

я у самого синего моря.

Волхвую,

зову государыню-барыню-рыбку...

Но море давно почернело от пепла и горя,

и умер старик,

а старуха горюет не шибко,

и ходит в х у м а н у,

и тешит себя дешевизной,

и стала свободной,

и стала такой х у м а н и с т к о й...

А линия смерти тождественна линии жизни,
а я и не знала,
как всё неминуемо близко.

Язычница...

Мавка

с нательным крестом под рубахой,
я линию жизни из линии горя скроила...

В ней пепел Одессы,
застывшая боль Волновахи,

Донецка и Киева,

Славянска...

Кровь Украины.

Туманы январские

и тяжелы и капризны.

Уходит зима,

и Земля продолжает вращаться.

И линия фронта проходит по линии жизни,
и линия горя проходит по линии счастья.



БЫЛ
МЕСЯЦ МАЙ
(из гюффика)

Скатываюсь в риторику

4 мая, утро...

Я не спала в ту ночь.

Как и многие мои знакомые, как и многие незнакомые мне жители Одессы.

Днём второго мая всё было как-то странно. Мы собирались на море, собирались долго, суетливо и бестолково. Что-то постоянно мешало, отвлекало. Телефонные звонки, не выключенный свет в коридоре.

Вспомнилось, что в тот злополучный день, когда я упала и сломала руку, меня как нарочно пытались задержать дома – телефон разрывался от звонков.

Второго мая звонок был только один, но было много других «препятствий».

Уже спустившись во двор, я увидела, что оставила окно открытым.

Всё бы ничего – четвёртый этаж очень старого дома, но мой кот – большой любитель оконных откосов. Пришлось вернуться.

Пытаюсь сложить все обрывки неслучайных случайностей, и они складываются в одну: кто-

то или что-то пытались удержать нас дома.

Эти же кто-то или что-то двумя неделями раньше поспособствовали увольнению сына.

Маленький магазин в полуподвальном помещении, где он работал, находится как раз напротив здания ГУВД.

Сейчас всё видится иначе, многое понимаю, многое осознаю. Не всё, но многое.

Тогда было грустно: перспектива поисков работы не очень радужна в наше время, в нашем городе и в нашей стране.

К морю мы, всё-таки, выбрались. Через двадцать минут небо затянуло тучами, начал накрапывать дождь, и, смеясь над собой, мы отправились наверх – в город, но задержались на небольшой площадке у дома-музея Паустовского, откуда открывается фантастический вид на море. Улица Черноморская – односторонняя, вторая сторона её исчезла в результате оползня. Когда сидишь на скамейке, склонов почти не видно, и кажется, что там – за краем площадки – лишь небо и море.

Возвращаясь, увидели марш (его теперь называют мирным) ультрас. Особого значения этому не придали – в тот день на стадионе должен был быть футбол, а тот, кто хоть раз видел

шествие футбольных фанатов, знает, что это такое.

Сейчас многие, анализируя события того страшного дня, пытаются установить, кто напал первый, кто первый бросил камень, кто первый выстрелил. Кто начал.

Наверное, это важно. Наверное.

Только началось это всё не второго мая. И даже не 21-го ноября.

Всё это следствие.

Причины происходящего надо искать в более раннем времени, когда страну сознательно разделили на «титულную нацию» и изгоев.

То, что происходит сегодня в Украине – плоды этого безмозглого разделения, плоды переписанной истории, с новыми героями и антигероями.

Шёл по мирному южному городу в не очень солнечный, но тёплый майский день «мирный», «безоружный» марш. Цепи с замками, бейсбольные биты...

Скатываюсь в риторику. Увы. Неизбежно скатываюсь в риторику.

Торопимся домой под вой автомобильных сирен, под какие-то странные хлопки.

«Стреляют, – говорит сын, и видя недоумение на моём лице, повторяет, – да-да, стреляют. Идём быстрее».

Уже дома, вижу на мобильном несколько неприятых звонков. Перезваниваю и слышу: «Люда, где вы? Почему не отвечаете? Не выходите из дому – опасно! Там, на Греческой...».

Приникаю к компьютеру, холодея от ужаса, смотрю что «там... на Греческой...». А там намеренно сталкивают «Майдан» и «Антимайдан», подогрев это столкновение маршем футбольных фанатов.

Намеренно. Из этого уже никто не делает тайны.

Получается гремучая смесь.

И – ужас.

Он продолжится на Куликовом поле, куда отправятся ультрас и «майдановцы», чтобы стереть с лица земли палаточный лагерь Антимайдана. Стереть вместе с людьми.

Всё, что случится потом, лежит за пределами моего сознания.

Оно просто отказывается воспринимать произошедшее.

Когда в сети появились первые фотографии и видео, подумалось: что может быть страшнее?

Оказалось – может. Это комментарии под снимками обугленных трупов:

Это радость при виде чужой смерти. Нет, даже не радость. Радость – это что-то светлое, чистое. А это – злорадство, какое-то неистовое злорадство и сатанинское веселье.

Есть ли разум у этих людей, есть ли сердце? Мать ли рожала их в муках?

Знают ли они, что такое боль?

Скатываюсь в риторику. Неизбежно скатываюсь в риторику.

Текут реки крови и... лжи.

О том, что среди погибших нет одесситов, а только граждане России и Приднестровья.

О «мирных маршах» и безобидных ульграс, которым впору нимбы и крылышки приделать. Шли – себе шли, никого не трогали. А тут сепаратисты – откуда ни возьмись. И те и другие, и третьи были вооружены – надо иметь мужество признать это.

Их просто загнали в угол (участок Греческой и стал этим углом) и спровоцировали побоище.

Зачем?

Пар выпустить... перед девятым мая?

Опять риторика.

И новые потоки лжи.

О том, что укрывшиеся в Доме профсоюзов сами себя подожгли.

Сами себя загнали в ловушку и подожгли.

Главное, найти виновных. Желательно – не в своём окружении.

Сегодня во всех бедах Украины винят Россию. Прежнюю власть и Россию. Каждая последующая власть начинает с того, что винит власть предыдущую.

В сети одно за другим появляются свидетельства очевидцев той бойни.

У каждого из них *своя* правда. И ложь, тоже своя.

Резюме ужаса – заявление нового губернатора о том, что вся эта кровавая бойня – законна.

Мученическая гибель одесситов – законна?

Не «сепаратистов-колорадов и террористов», не «майдаунов» – одесситов.

Значит, людей по-прежнему можно сжигать только за то, что у них другие убеждения?

Плясать при виде агонии тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон горящего Дома профсоюзов.

Одни плясали, другие, говорят, забивали ногами и битами. Были и третьи...они пытались спасти этих несчастных от расправы.

Их было мало, но...

Слава Богу, что они были.

4 мая, вечер...

Не знаю, как жить дальше.

Слово месть у всех на устах.

У всех на слуху.

И нет никого, кто бы положил конец этой бесконечной бесчеловечной, кровавой неразберихе, в которой трудно разобраться кто свой, кто чужой, кто друг, а кто враг.

В которой невыносимо больно жить.

Идёт обычная война.

Чудовищно звучит, но это так.

Молюсь о погибших. Молюсь об Одессе, о светлом моём городе.

О людях, живущих в нём мирно и дружно.

Об Украине, солнечной и хлебосольной, о её народе.

Молюсь и из последних сил надеюсь на то, что повторения не будет.

Господи, помоги пережить эти страшные окаянные дни...

p. s. А слушать предупреждения кого-то или чего-то я так и не научилась.

Справедливости ради...

5-6 мая 2014 г.

Нет, я и не надеялась на что-то другое, дав разрешение на публикацию «Скатываюсь в риторику» на одном из сайтов.

Редакция сайта попросила разрешения, предложив публикацию под псевдонимом.

Ответила: «Скрывать мне нечего. Публикуйте».

И грянул камнепад комментариев.

Кем только меня там не называли.

Хотя, я сразу дала понять – я не очевидец, я не участник этих трагических событий. Но я сопричастна.

Я живу в этом городе, в этой стране. Я люблю эту страну и этот город и его жителей, и не делю погибших на «майдановцев» и «сепаратистов» – мне больно за каждого из них.

Я не пребывала в эйфории, когда лилась кровь в Киеве, и других городах Украины, не куталась в державний жовто-блакитний прапор, не починала поспіхом говорити державною мовою, котрою, кстати, володію досить вільно.

Всем сердцем я была со своей страной.

Тем больше видеть злорадство одних и равнодушие других.

Я – русская, Россия – моя родина, но я – гражданка Украины и это моя земля и моя страна. И моя боль.

Пафосно...?

Как есть.

Дневник мой – это эмоции, это боль, рвущаяся наружу, и я его (да и боль тоже) – никому не навязываю.

Как остановить кровопролитие, которому нет конца...

Человеческая жизнь – высшая ценность. Любая жизнь – высшая ценность.

Тем страшнее видеть и слышать сегодня людей, откровенно радующихся трагедии. Стыдно, что среди них есть ...мои знакомые.

Они называют эту трагедию – победой.

Опомнитесь.

Сегодня в Одессе говорят о том, что истинное число погибших замалчивается. Много неопознанных и пропавших без вести.

Сегодня в Одессе продолжают хоронить погибших.

p. s. Справедливости ради: на том сайте были

и голоса соболезнования, скорби и благодарности. Их немного, но они были. Спасибо им.

Повторюсь: я не очевидец. Я живу в этом городе, в этой стране, на этой земле, и я – часть этой земли.

Не будет прежней Одессы

7 мая, утро.

Проснулась посреди ночи и вдруг вспомнила сон, что снился неделю тому назад. Со мной такое бывает, просыпаюсь и не помню, что снилось, хотя, знаю точно – снилось. Остаются только смутная тревога, тяжесть на сердце и предчувствие беды.

Я убегала. Под вой «богодана» (тормоза этих маршруток воют так, что сразу не разберёшь, крик это чей-то или стон...) по улице, по мокрой от дождя брусчатке. Никакого дождя не было. Наверное, он только что кончился. Небо не прояснилось, осталось низким тяжёлым, дышать было трудно – я задыхалась.

Дома тёмные, мрачные, – казалось, наполнены чем-то жутким, зловещим. Пустые внутри и полные – одновременно. Там не было

полов, потолков, стен – там ничего не было.
Кроме пустоты.

Пустота была живая.

Смотрела, как я бегу, словно ждала чего-то.

От кого или от чего убегала я?

Кто или что гнало меня по мостовой родной
улицы в ночь на первое мая?

Страх.

Липкий противный страх, от которого всё
холодеет внутри, от которого свинцовой
тяжестью наливаются ноги, немеют руки и
исчезает голос.

Можно сколько угодно бежать и кричать –
напрасно...

Клиническая картина фобии.

Одной из них.

После второго мая страх прочно обосновался
в городе.

Все мы чего-то боимся, чего-то опасаемся –
страхи есть у каждого из нас.

Но этот страх – особенный.

Он ползёт по солнечным улицам и бульварам,
усыпанным опадающим цветом каштанов,
которые этой весной цветут как никогда –
пышно и долго.

Он проникает в душу, в сердце, он заставляет

смотреть в глаза людям вопрошающе, с недоверием и опаской – мало ли что.

На первый взгляд, кажется, что всё осталось по-прежнему.

Город полон людей, солнце светит, небо синее-синее, чистое и мирное, весеннее.

Но... на углу улиц Преображенской и Дерибасовской – цветы.

Здесь в тот день пролилась первая кровь.

Похороны. Одни, вторые, третьи... десятки.

Людей хоронят в закрытых гробах.

На Куликовом поле продают кофе.

Спешат по своим делам прохожие.

Но... море цветов и свечи у обгоревшего здания Дома Профсоюзов.

Идут и идут люди. Несут цветы.

Нет, он не остался прежним, мой город.

Он напоминает испуганного ребёнка, плачущего, глядящего сквозь слёзы: «Что же вы сделали? Что?»

Я люблю вас всех, я приветлив и добр. На моих улицах, в тени платанов, на золотых песках моих пляжей – под моим солнцем, места всегда хватало всем.

Что вы сделали с собой и со мной, люди? Вы все – мои дети. А я – ваш. И люблю вас всех...».

Не будет прежней Одессы.

Беспечной, неторопливой, беззаботной, улыбающейся Одессы в ближайшее время не будет.

Дай-то Бог, чтобы дух этой вольной солнечной пристани оказался силён и жизнелюбив, чтобы, оправившись от всех потрясений и бед, она стала прежней.

Дай-то Бог.

Открытая рана затянется.

Останутся шрамы.

Уродливые чёрные шрамы на светлом сердце Города.

Внешнее и Внутреннее...

7 мая, вечер

Внешнее приходит от внутреннего, и происходит от внутреннего. Внутреннее проступает через самую благообразную или самую уродливую маску. Внутреннее – это настоящее. Оболочка может быть красивой, но если внутри гниль, она неизменно проступит. В делах, в случайно обронённых словах, во взгляде. Изменяясь внутренне, можно измениться и изменить внешнее. Душа – внутреннее?

Внешнее для неё неважно, ей нужно то, что идёт изнутри Любовь. Слово. Молитва. Струйки дыма растворяются в воздухе сразу, и тонкий аромат ладана смешивается с пряным запахом молодой травы, с волнующим и нежным запахом отцветающих каштанов и сирени. Ветер доносит солёное дыхание моря – оно рядом. Можно пройти старым парком и спуститься к нему. Море лечит всё – и внешнее и внутреннее. Дым стекает из маленького кадила в руках священника. Вслушиваюсь в древние слова разрешительной (так, кажется...) молитвы. Из старого парка доносится детский смех. Тюльпаны цветут на ухоженном газоне возле дома на одной из самых красивых улиц Одессы. Жизнь и смерть не просто идут рука об руку, они неразделимы. И этот весенний день и гроб у входа во двор, и зажжённые свечи в руках пришедших попрощаться с покойным, тоже теперь неразделимы в моей памяти. Прощание окончено. Мы с Оленькой идём к парковке.

– Я не почувствовала его там – в гробу, – говорит она, – может быть, это потому что гроб закрытый. А потом посмотрела вверх, туда, где цветёт каштан – и подумала, что он там. Смотрел, слушал и удивлялся, наверное. А

отпевание совсем не похоже на таинство. Ладан в коробочке из-под сахара, святая вода в пластиковой бутылочке... Но ведь всё это внешнее, правда? Внешнее не важно – важно внутреннее.

– Правда, – соглашаюсь я. – Важно внутреннее. То, что внутри. Тело предадут земле. Душа обретёт покой. Может, потому и у меня сейчас на душе нет тяжести?

Вспоминается недавний разговор о памятниках. Они нужны живым. Усопшим нужна память – в добром слове и в молитвах. А памятники – живым – чтобы помнили. Люди забывчивы. Злопамятны, жестоки, непримиримы и... забывчивы. Года два тому назад я уже писала об этой странной амнезии, и о том, что «лекарство» от неё страшное и, увы, недолговечное – кровь.

...Оленька водит машину заправски, что меня восхищает и тревожит одновременно. Боюсь за неё – на дорогах города такое творится. Сама я машину не вожу и никогда к этому не стремилась. Кто-то спросил однажды, какой модели автомобиль я выбрала бы, какую марку? Ответила не задумываясь: «Коня. Ахалкетинца. На Руси их аргамаками называли... ».

Мысли мои обрывочны, хаотичны, и только

одна постоянна и неотступна: «Как? Как такое могло случиться в Одессе?» Старый плакат с изображением бывшего властителя выцвел и почти заклеен портретами властителей потенциальных. Ни слова соболезнования Одессе и одесситам от прежних властителей. Или было? А я не услышала... Бог с ним – не в словах дело. Слова политиков к настоящему Слову не относятся. Это тоже – внешнее. Поворот – и мы на Пушкинской. Здесь я выхожу, чтобы бежать дальше.

Путь мой лежит мимо Куликова Поля, где стоит обожжённый Дом Профсоюзов – чёрная свеча... Не могу пройти мимо, но и войти не могу, останавливаюсь у входа. Люди около дома и внутри. Цветы на подоконниках, свечи, иконы. Страшное место... «чёрствая земля» – так его называли в прошлом. Лобное место – здесь проходили убийства и казни.

Место захоронений. Место скорби. Место массовых народных гуляний и парадов. Плясать на костях и идти по костям – для человечества дело привычное. «Вся Земля – огромное кладбище, – сказала мне как-то моя мудрая и немного циничная знакомая, – что ж теперь, делать. Надо же живым как-то и где-то жить?»

Не знаю. Запуталась. Ничего не знаю. Меня окликают. Оборачиваюсь. Давний наш знакомый. Назовём его ...Д. В последний раз мы виделись с ним до... Многие теперь жизнь свою будут делить на «до» майского пекла и «после». Их много, этих знаковых событий в жизни каждого, вех. Их назначает сама жизнь или ... сама смерть.

Д. говорит негромко, но от услышанного, внутри всё обрывается... рассказывает об иконе, которая горела и не сгорала, о криках... «Берегите себя. И своих близких. Берегите...»

Ухожу от чёрной свечи-дома, ищу спасения от боли, захлестнувшей меня с новой силой. Никаких дел на сегодня. Каждый шаг по брусчатке Куликова поля пробуждает спящие где-то глубоко в памяти блоковские строки. Впереди чистое весеннее небо. И сияние куполов Свято-Пантелеймоновского монастыря.

Прислушиваясь к себе...

8 мая

Чувство, поднимающееся откуда-то из глубины, почти незнакомо мне.

Это гнев.

Женщина. Мельком виделись и слышались несколько раз на литературных студиях, давно, когда я ещё наивно полагала, что стихосложение – дело публичное.

Верующая.... Нет, скорее религиозная. Для меня эти различия существенны.

Всегда что-то настораживало в её взгляде.

О стихах судить не берусь – я не критик.

Скажу только, что для меня стихи – суть того, кто их пишет. Но это моё, субъективное видение. Может, потому что сама не играю в стихосложение, а живу.

Она говорит о покойном: «Как.. как он там оказался, на Куликовом?»

«Был там...», – отвечают ей.

«Зачем?»

Волна моего гнева выплескивается наружу:

«Ну какая вам разница, как он там оказался и зачем. Главное, что вас там не было. Такие как вы всегда оказываются в нужном месте и в нужное время...».

Давняя приятельница моей знакомой. Интеллигентная, начитанная, приятная во всех отношениях дама элегантного возраста.

– У меня племянник был там. Они себя сами подожгли. У нас убеждения, мы не просто так.

– Какие убеждения? – чувствую, что меня начинает трясти.

– Мы патриоты.

– Представьте себе, я – тоже.

– Я вас понимаю. Но то, что случилось...

– А вы уже были там, на Куликовом?

В жизни я обычно вежлива – издержки воспитания. Сейчас же просто перебиваю её, не дав закончить фразу. Она удивлена – не ожидала такой грубости.

– Нет. У меня ноги больные – далеко идти. Да и зачем?

– А вы племянника попросите – пусть отвезёт. Сначала туда, потом на Преображенскую угол Дерибасовской. Потом на Греческую. А потом просто посмотрите друг другу в глаза, если сможете, конечно. И уже хорошо знакомая волна гнева захлёстывает меня. Господи, помоги.

Удержи от ненависти, от злобы.

Как со всем этим жить дальше...

Идём в город.

Так говорят в Одессе. Живём мы в городе, но когда выходим гулять или по делу, значит – *идём в город*.

Это значит – на Соборку, на Дерибасовскую, на Приморский, на Пушкинскую...

Людей немного. Рестораны открыли летние площадки, но они пусты.

Не сезон ещё... Или?

Или.

Саксофонист на Дерибасовской играет вечную «Райскую мелодию» Папетти, и уходить не хочется.

Закрывать бы глаза, взлететь невесомой ноткой в поднебесье, и ни о чём другом не думать и не помнить.

Гнев мой становится кротким, почти ручным, засыпает, убаюканный волшебной мелодией.

Надолго ли?

Слушаю дождь

9 мая

Слушаю дождь. Смотрю на полыхающее небо. Праздничный салют.

Хоть что-то от прежней Одессы.

Многие считают её выдумкой, сказкой, мифом.

Но такая Одесса была.

Был дворик на улице Косвенной, у Староконного базара. Марлевые занавески на открытых дверях раздувал ветер. Входные ворота

– обычные, не металлические, и не на замке – всего лишь щеколда, которую легко было открыть с улицы, просунув руку.

В таком дворике жила моя бабушка.

Тремя кварталами выше – на Мастерской – в очень похожем дворике – жила семья моего будущего мужа.

Пишу и сама удивляюсь этому.

Но ведь было же.

Было.

Теперь в том дворике металлические ворота, и в каждой квартире бронированные двери.

И соседи знают друг друга в лучшем случае – в лицо, и не всегда по имени. А тогда здесь было восемь квартир. Росло пять вишнёвых деревьев и два абрикосовых. Урожай снимали всем двором.

Русские, украинцы, молдаване, болгары, евреи?.. Да.

Но – прежде всего – одесситы.

Двориков таких в Одессе было великое множество.

Кто-то помнит *другое*?

Возможно.

Я не так глубоко заглядываю в прошлое.

Были и погромы. И налёты.

Была Траснистрия.

Но Одессу, о которой я пишу, знают и помнят многие.

p. s. Стою у открытого окна, слушаю дождь.
Тихий, весенний, тёплый.

С ним шепчется старей куст жасмина во дворе, переговариваются сирень и шелковица. С ним перешёптываются молоденькие виноградные листья.

Ему отвечают крыши и водосточные трубы.

Только я молчу, потому что сказать мне ему нечего.

Снова и снова вспоминаю сегодняшний разговор: знакомая рассказала о том, как в тот день, она и её подруга, увидев толпу, несущуюся на Куликово Поле, прибежали в один из храмов, что неподалёку, и стали просить, чтобы в храме начали бить в колокола. Мол, если это и не остановит толпу, то хотя бы отведёт беду.

Звонить в колокола в храме не стали. Сославшись на то, что без разрешения свыше не имеют права.

«Мы что, в обком пришли?»

Ответом женщин не удостоили.

Я в очередной раз содрогнулась от осознания

того, в какой глубокой духовной спячке находимся все мы.

При опасности, при угрозе всегда звонили в колокола. Били в набат.

Не думаю, что на то требовалось особое разрешение свыше...

10 мая

– Ты всё ещё пишешь стихи?

Разбуженная ранним телефонным звонком, я не сразу понимаю, кто звонит.

– Кто это?

– Старых друзей не узнаешь?
Узнала. Проснулась окончательно. И гнев проснулся. Ну а сейчас-то что? Не понимаю себя.

– Всё ещё пишу.

– И где же они?

– Во мне.

– С прошедшими тебя праздничками. Как отмечали?

Опять эта волна... Господи...

– Извини, я не могу сейчас говорить.

Зачем я ей вру? Зачем она спрашивает: как отмечали? Неужели ничего не знает? С Луны вернулась... с Марса? Не хочется начинать день с потери. С ещё одной потери.

Их много за последние дни.

Среди них и мёртвые и ...живые.
Сегодня девять дней.
На Куликовом Поле отслужили панихиду.

Чем дальше, тем ближе...

11 мая

День за днём, строчка за строчкой – всё дальше и дальше от страшного дня. И вместе с тем... Странное, неподвластное объяснению приближение и погружение в те события снова и снова, попытка понять. Не отпускает боль, переходящая в сердечные сбои, и воздуха не хватает.

Сегодня в больнице скончался Евгений Лосинский. Второго мая, во время боя на Греческой площади, он был тяжело ранен – получил два огнестрельных ранения, одно из которых оказалось смертельным. Месяц назад, мы любовались им. Женя шёл в первых рядах победного марша – участников реконструкции исторического события – освобождения Одессы. Тогда, 10 апреля, мы пришли к Оперному театру пораньше – один из наших друзей, назовём его Сергеем, принимал участие в реконструкции. Увидев Сергея в форме

немецкого солдата санитарной службы, рассмеялись. Вот оно – внешнее и внутреннее. Ни угрозы, ни агрессии, ни чувства опасности... Ни от Сергея, ни от других «немцев», ни от ребят в форме румынской армии. Да, конечно, немаловажно здесь то, что мы знали, что всё это игра. Два дня назад, гуляя в городе, встретили группу молодых людей. Человек семь-шесть. Жители курортных городов обычно сразу вычисляют приезжих – отдыхающих. И дело тут не только в акценте и в языке, хотя одессита можно узнать именно по этому характерному акценту.

Помню, как мама боролась за мой чистый русский, как возмущали её «делать базар», «тудой», «я знаю...» и прочие «одессизмы», от которых я была в восторге, и вставляла их, где надо и где не надо, при каждом удобном случае. Эти молодые люди были приезжими. Не отдыхающими. Не туристами. Не рабочими. Скрытая угроза, исходившая от них, была так велика, что я остановилась, решив переждать, пока они пройдут.

Не хочу возводить напраслину на людей, возможно, всё это моя извечная беда – воображение. Да и потом, вы же знаете: у страха

глаза велики. Но это чувствовала не только я. Встречные прохожие спешили свернуть, а те, кто шёл позади – намеренно отставали. Они шли, и впереди никого не было, и позади – тоже. Внешний вид у них был самый обычный. А вот их *внутреннее* выплёскивалось наружу и заставляло людей держаться подальше.

Не спрашиваю, за что.

Пытаюсь понять – почему

13 мая

Снился дворик на Косвенной. В том дворике, в бывшей нашей квартире, давно уже живут другие люди, но я вернулась туда. Приехала на пятом трамвае, вышла на остановке, которой сегодня уже нет – её перенесли, когда расширяли Староконный рынок, – вошла как в свой дом.

Дворик ухожен, чист. Зеленеет листва на молодых деревцах, не так давно высаженных.

Старой вишни и абрикосов – нет.

Около моей двери растёт какое-то странное дерево с жёлтыми резными листьями.

Присаживаюсь на краешек старой скамейки. И обугленный чёрный дом снова и снова встаёт

перед глазами. Не спрашиваю – за что, пытаюсь понять – почему.

Почему это происходит с нами сегодня?

Само понятие фашизма люди связывают с тяжчайшими преступлениями против человечества, с теми зверствами, о которых каждый из нас читал в учебниках истории.

Казалось бы – вот она, страшная «прививка» от повторения подобного.

Но иммунитет оказался недолог, и события последних месяцев, и особенно – последних дней, подтверждают это.

Что должно произойти с человеком, какие внешние и внутренние грани должен преступить он, чтобы мог убивать? Чтобы был готов убить....

Я не о преступниках. Не о тех, кто совершает так называемые «убийства на бытовой почве», с целью завладеть имуществом, с целью наживы.

Я о тех, кто просто готов убить.

Просто так.

До какой степени должно быть искажено и извращено сознание, психика.

Звериная жажда крови и ... извечная человеческая жажда власти над другими людьми. Власти безграничной, беспредельной.

«Равнодушие», – пишет в стихах мой друг.
Соглашусь.

Но не только оно одно.

Нежелание верить в то, что трагедия может повториться.

Отсутствие чувства опасности.

Беспечность.

Нежелание признать и увидеть угрозу внутри страны.

Не извне.

Внутри.

Как, скажите, понять, что это «враг», когда он говорит на одном языке с тобой?

Это в Римской империи было ясно who is who: есть у человека связка розог и топор – значит он ликтор, и пришёл за твоей жизнью.

Как можно считать врагом соседа, сослуживца, коллегу по работе?

Случайного прохожего.

«Будь осторожна...», – пишут и говорят мне сегодня друзья.

«Будьте осторожны. Берегите себя!», – пишу и говорю я сегодня своим друзьям и знакомым. Потоки ненависти неиссякаемы.

Одни слепо ненавидят всё русское.

Другие – всё украинское.

Третьи?

Третьи радостно потирают руки.

Старая пословица верна: «Кому война – кому мать родна!»

Четвёртые пытаются жить дальше. Учиться, работать.

Сеять хлеб, строить дома. Любить.

И считать последней любую войну.

И чью-то смерть на этой войне – последней.

22 мая

Живущим в Одессе сегодня невыносимо трудно разобраться в том, что случилось.

И тем, кто был в тот день на Куликовом.

С обеих сторон.

И тем, кто не был.

Хотелось бы попросить всех, кто берётся писать о событиях в Одессе и в Украине.

Тише, пожалуйста.

Что же вы так раскричались?

Здесь каждый день льётся кровь.

Здесь каждый день уносит новые и новые человеческие жизни.

Пожалуйста, тише.

Посеяно достаточно лиха – пожинать всходы придётся не нам с вами – нашим детям и внукам.

Не умножайте скорбь и зло.

Верующие – помолитесь.
Неверующие – просто помолчите.
Поэты...
«умейте домолчаться до стихов...»

23 мая

Предощущение беды.

Оно возникло спонтанно, когда я впервые увидела варварски обрезанные деревья. Было это в марте, кажется.

Деревьев в центре Одессы много, и все они довольно старые. Поскольку надлежащего ухода за ними не было (последние лет двадцать – точно), они во время ураганов и обледенений частенько падают прямо на тротуары и мостовые, на пешеходов и на машины. Когда переполнилась чаша терпения одесситов? Когда огромная ветка упала на маленькую девочку, шедшую по тротуару, держа за руки маму и папу.

Девочка выжила.

А деревья начали обрезать.

Остались одни стволы.

Чёрные, будто обугленные, трагичные и скорбные. Казалось, что это не деревья, а люди, воздевшие обрубки-руки к небесам.

«Прсят о помощи... Беда приключилась с

ними. Или с нами?», – подумала тогда, и сердце сжалось от нехорошего предчувствия.

«Декорации для фильмов Хичкока...», – мрачно пошутил сын.

Конечно же, обрезка деревьев – дело нужное. Добавлю – если она правильная и своевременная.

Сейчас эти «культы» чуть прикрылись листвой, но зрелище всё равно жуткое. Они и сейчас просят о чём-то, беззвучно кричат или молятся.

А люди не слышат – как тогда.

Как всегда.

Старьёвщица-память

25 мая

Ступени старой лестницы усыпаны опавшим цветом белой акации, утратившим свежесть и белизну. Он смешается с прошлогодней листвой, травой, пылью и станет частью этой пыли.

Старьёвщица-память тащит цвет акации в свои кладовые, где хранятся звуки, запахи, цвета, взгляды, улыбки, смех и слёзы, дорогие моему сердцу голоса. Запах семечек разбудил бабушкин голос. Она жарила семечки для всего двора,

покупала рано утром на Привозе и жарила. Вернее – калила на плите в раскалённом казане. Чуть масла, чуть крупной соли...

Бабушка бы сказала о памяти: посмитюха.

Это от украинского слова сміття – мусор, те, що не має значення, цінності, зайве, непотрібне. Так и тянет пойти дальше по этой тропинке, в глубины этимологии: сміття – то, что сметают метлой, метут. Вот и ключ. Украинский язык – ключ для многих слов из русского языка.

Стою под цветущей акацией, слушаю майский звенящий полдень.

У него замечательный голос: дыхание моря, стрекотанье кузнечиков, отчаянные птички разборки. И тихий нежный звон.

Как в мамином саду, когда цвели яблони, сливы, вишни, когда зацветали липы. Труженицы-пчёлки берут взятку с цветущей белой акации.

Телефонный звонок вырывает меня из утренней идиллии. И когда я только научусь оставлять телефон дома...

– Доброе утро. За кого голосовала.

– За пчёл, – улыбаюсь я, разглядывая золотистую пчёлку.

– За каких пчёл? Ты где?

- Иду на море.
- А как же выборы?
- И выборы пускай себе идут.
- Послушай, это же неправильно. Так нельзя.

Это наше право, отдать свой голос.

– Я согласна всё отдать. Сердце, душу – только бы хоть что-то изменилось к лучшему. Но ведь этого не будет. Это игра. И ты хорошо знаешь это.

– Пусть так. Игра... Должен же нами кто-то управлять. Ситуация такая в стране, что страшно.

– Я не хочу. Без меня.

Телефон стремительно разряжается – и я впервые радуюсь этому. Но больше тому, что впереди – море. На море штиль.

Вода – как слоёный торт; верхний слой тёплый, за ним – чуть прохладнее, дальше – холодный, и самый нижний, до которого я могу нырнуть и дотянуться – ледяной.

Он останется во мне, звенящий, солнечный майский день, незаметно стекающий в тёплый тихий вечер.

Маленькое кафе в центре города, много знакомых лиц, и надо всем этим чистый горный голос, поющий длинную колыбельную для упрямой войны...

31 мая

Май две тысячи четырнадцатого, чёрный страшный и длинный, заканчивается.

Оглядываюсь в беспечное его начало, и кажется, что прошёл не месяц – а целая жизнь.

Так много боли вместил в себя каждый из тридцати дней.

Чёрная пелена гари и дыма отделила этот май от всего, что было «до».

Чёрный дым развеется, запах гари исчезнет, но день, в котором они вырвались на волю, будет с нами всегда: молодое весеннее солнце, высокое чистое небо, ласковое тихое море, тёплый, ещё не обжигающий песок...

Всё это перечёркнуто чёрным дымом, кровью, криками, пеплом.

Заканчивается май.

Продолжается война.

Каждый день в новостях сводки о погибших и раненых.

Хоронят ребят, которым жить бы да жить.

Каждый день полнится слухами о зверствах и пытках, о вырезанных сердцах и свастиках.

Только...

Какую бы «правду» ни впаривали нам сегодня СМИ, нет правды иной, кроме: в моей стране

идёт война. И все мы вовлечены в эту войну, все – без исключения.

Она в наших домах, в наших сердцах, в душах. Она пожирает нас изнутри и снаружи, разрушает всё, чем жили мы раньше, жили неплохо, как оказалось.

Всё изменилось.

Изменились и мы сами.

Меня сегодня уже не удивляет: «Чемодан – вокзал – Россия», брошенное в мой адрес в сердцах знакомым.

Бывшим знакомым.

Спасибо, что не на «гілляку».

Он приехал в Одессу из Тернопольской области лет двадцать назад.

И считает себя вправе указывать мне в сторону вокзала и России.

Я и не отношусь к коренным одесситам. Я – «понаехало».

С одной маленькой поправкой: бабушка моя жила здесь. Здесь она и похоронена недалеко от отца и дяди.

Муж мой – одессит в четвёртом поколении.

Сын – в пятом.

А я согласна и на «понаехало».

Переживу как-нибудь.

Не удивляет и шипение ещё одной знакомой. Бывшей.

«Посередине, говоришь? Ты... кого ты защищаешь?»

Я защищаю простое человеческое право – на жизнь. Мирную жизнь в согласии и любви на своей земле. Наклеивать ярлыки на людей проще всего. Но всё это, повторяюсь, меня уже не удивляет. Но огорчает и ожесточает – и это страшно. Выстоять бы... Не ожесточив душу и сердце, выстоять.

5 июня

Все встречные поезда идут быстрее.

Нет.

Не так.

Кажется, что все встречные поезда идут быстрее.

Пронесется мимо с каким-то странным гудком, очень похожим на крик или всхлип.

Мелькает разноцветная гирлянда огней, словно раскрылась любимая игрушка из детства – волчок, огоньки перестали бежать по кругу, – вытянулись в длинную яркую цепь, и вот уже нет её, как нет и самого встречного поезда.

Тот, в котором едешь ты, хоть и именуется

скорым, и остановок делает в пути немного, плетётся не спеша, как самый обычный – пассажирский.

А в том – встречном – огни горят ярче, пассажиры наряднее, улыбчивее и моложе, и – счастливее тебя и всех, кто едет с тобой в одном купе, в одном поезде.

Почему так происходит?

Ладно – ты, но остальные, остальные. Они-то тут при чём?

Неужели всё из-за тебя?

Чувство вселенской вины подзуживает дать обет: ходить пешком.

В соседнем купе едет женщина. Смотрит в окно, думает о чём-то своём, или вспоминает что-то. Свет её воспоминаний освещает всё вокруг, делая пассажиров поезда счастливыми – всех без исключения. И тебя – тоже.

Счастье – оно заразительно, как смех, как улыбка, как радость.

Как беда.

6 июня

Первая летняя неделя на исходе.

Лето мягко перетекло из мая в июнь, влажным теплом, дождями, тихим ветром.

Не из холода – в оглушающую и обездвиживающую всё живое жару-спеку, а мягко, крадучись на пушистых подушечках кошачьих лапок.

Что тут началось!

Клубника, черешня, вишня и вареники с вишней, сочащиеся густым тёмным соком, в сметане, в сахаре.

Какое же лето без вареников с вишней?

Без окрошечки на домашней сметане, или на кефире – что не менее вкусно.

Без маленьких пирожков на простокваше, с рубленным яйцом и зелёным луком, без оладий из кабачков, без нежнейшего «ситцевого» борща с молодым бурячком, чесночком, с обилием пряной зелени.

Без отварной молодой картошки с маслом и укропом.

После всего этого великолепия и изобилия, после живописной роскоши июньского базара, осознаёшь – лето пришло.

Невзирая на страх и боль, и страдания – пришло.

Значит, самое время отправиться в Аркадию на «стареньком пятеньком трамвайчике».

Но, вся эта немудрёная снедь, как и старей

трамвай № 5 из той Одессы, от которой нынче почти ничего не осталось.

На днях попрощалась с ещё одним её уголком – с Аркадией.

Пошлые бездушные композиции современности вместо милой сердцу чистоты и простоты классики, берущей свои истоки в древней Элладе, невыносимый, отвратительный дух торгашества, дух распродажи.

Пошлость заполонила город.

Что ж, аляповатый золотой уродец, именуемый «дитя Одессы» подрос и, видимо, вносит свою сомнительную лепту в виде памятника Высоцкому у Одесской киностудии, «тени Пушкина» на тротуаре в месте пересечения улиц Дерибасовской и Ришельевской, вырубленной аркадийской аллеи, милой сердцу, тенистой и уютной.

Теперь здесь лысые пальмы, нещадно палящее солнце и МАФы – малые архитектурные формы – «рай для нищих и шутов».

Не стало Аркадии.

Поколение *лопачиных* шагает по Одессе семимильными шагами.

Да что там по Одессе, по всему миру.

И стучат, стучат топоры...

23 июня

Море. Солнце. Солнечные зайчики на воде. Солнечная дорожка, по которой плыть так же волшебюно, как и по лунной. Двое на пирсе. Смешная чайка, романтичная и очень любопытная. Завистливый голубь...

Чайка взлетает. Из неуклюжей птицы с коротеньким тельцем превращается в ту самую, белокрылую и вольную, чеховскую.

Что делает полёт с человеком. В смысле – с чайкой. Лестница, усыпана ягодами шелковицы. Чёрные, розовые, белые...

Шелковица здесь растёт просто так – на склонах – вдоль спуска, на радость людям, вперемешку с алычой, жарделькой, яблоней. Никто за деревьями не смотрит. Солнышко пригрело, дождик полил – спели ягоды и падают в траву и на ступени лестницы, под ноги людям, спешащим на море или плетущимся с моря. Шелковица – мозаичное стёклышко моего детства.

Жаркое одесское лето, пыльные, пропахшие морем, «пятнистые» улочки, дребезг старого «пятеьного» трамвая, идущего «на круг» у Староконного рынка, сине-чёрные пятна на

асфальте – в тени, под раскидистой кроной старой шелковицы.

Сине-чёрными становились мои ладошки и губы, и язык. И платье, конечно же.

Поспевшая шелковица – настоящее стихийное бедствие.

Последствия сравнимы разве что с черникой – другой моей любимицей, северной, лесной.

Шелковица – совсем другая. Вкус другой, аромат.

Нежная, сочная. Помнится, в тени тутового дерева искал спасения библейский герой – Иона.

В тени старой шелковицы ищут спасения птицы, коты и люди в моём дворе. Варенье из неё красиво – разве только вишнёвое может сравниться с ним.

И вкусно.

Вечерний дождь, невероятный – в полнеба – закат, от которого просыпается чувство тревоги и ощущение холода внутри.

Идёт война.

И это только кажется, что она далеко.

Летние дни и вечера – мозаичные стекляшки. Есть яркие, радостные, а есть чёрные, и их с каждым днём всё больше.

27 июня

Обычно дети на море орут, визжат, носятся, как угорелые. Ещё бы – колыбель, родная стихия – вода.

Этот малыш ведёт себя иначе. Он приходит с мамой часов в семь утра, трогает воду ладошкой, подносит к лицу, что-то говорит.

Воды совсем не боится, маленький «взрослый» человечек.

Рассматривает камешки, песок, раковины. Подносит к лицу и снова что-то говорит на своём, одному ему понятном языке. – Всегда такой был, – вздыхает его мама, миниатюрная зеленоглазая девочка. А у малыша глаза – синь-бирюза...

– Всегда, это сколько?

– Три с половиной года. Так хочется, чтобы побегал, покричал немного, как другие детки. Нет. Только рассматривает всё: листики, траву, цветы, воду, песок и камешки, словно видит впервые. И говорит.

– Это же хорошо, что говорит. Значит, он их понимает, слышит. Наверное, будет поэтом. Как зовут?

– Арсений.

– Что ж Вы хотели от ребёнка с таким именем?

– Не знаю. Что, есть поэт с таким именем?

– Есть. Арсений Тарковский. Не заставляйте сына быть «как все», не надо. Успеется.

28 июня

Смотрю, как женщина собирает раковины. Судя по белой, едва тронутой загаром коже – приезжая. Их немного этим летом в Одессе, если не считать беженцев, конечно. Закрывает глаза и увидела дождливый осенний вечер, уютный свет торшера, кресло и её, нанизывающую раковины на длинную тонкую нить. Что это будет? Музыка морского ветра? Голос моря? Занавеска на небольшое окно, или на окно большое – вместе с балконной дверью – один взгляд на которую будет напоминать о жарком июньском солнце, о влажной карамели песка, о море.

Оказалось всё не так. Она одесситка. Приходит сюда каждое утро. А раковины собирает для дочки, которая живёт в России.

– Сами понимаете, приехать этим летом вряд ли получится. Да и у меня нет возможности поехать к ней. Из этих ракушек она делает браслеты и ожерелья – вмиг раскупаются,

особенно летом. Как по всем нам прошлась эта война. Вроде и хранит Господь – здесь у нас не стреляют, а ведь душа болит не меньше. Днём пляж полон, как будто и нет ничего. А если прислушаться – все только об одном и говорят. Уходите уже?

– Начало десятого. Мне пора.

– И я через полчаса буду собираться. Удачного вам дня! День мой действительно складывается удачно. Вечером загружаю фотографии. Море, одинокая яхта. Слышу голос: «Как по всем нам прошлась эта война...». Смотрю сводку новостей. И война продолжает идти по мне семимильными шагами.

30 июня

В бабушкином доме рыбаков не было, а вот обрывки рыбацких сетей были. Одним из них бабушка мыла посуду. Она не признавала поролоновые губки. Ни раньше – когда их не было (мне, например, приятельница из Болгарии такую губку привезла – магнители тогда ещё не возили, плиску я не пила, тарелочки вызывали у меня приступ тихой ярости, и она об этом, слава Богу, знала) – ни потом, когда губки эти появились в избытке.

Бабушка продолжала мыть посуду обрывком рыбацкой сети.

Ещё одним таким обрывком мы чистили молодую картошку под сильной струёй холодной воды. Быстро, дёшево и сердито. Ни картошка – ни пальцы темнеть не успевали.

Третий обрывок – для душа. Сеточка заменяла не только мочалку, но и пилинг, поскольку тёрла достаточно жёстко. Кожа в проблемных местах становилась как у младенца.

Вот и у меня в доме рыбаков нет.

А обрывки рыбацкой сети есть.

Сколько угодно.

9 июля

Волна выбросила на берег мидию, обросшую ракушечками-детками. Росла себе мидия где-то, горя не знала, раковинку-домик растила, детками обрастала и не думала-не гадала, что в один «прекрасный» день оторвёт её от любимого места стихия, вынесет на мелководье, а потом и вовсе на берег выбросит. А там – на берегу – выжить не получится. В воде глаз – да глаз нужен, того и гляди сожрут живьём, а на суше и подавно сожрут, даже если ты обыкновенная мидия-митилица, а не какая-нибудь королевская

устрица, которой не стоит расслабляться с сентября по май. Впрочем, в наших реалиях и с мая по сентябрь – тоже, и в устричное межсезонье сожрут. «Устрицы для бедных» – мидии – тоже живьём едят. Да и рапаны расплодилось видимо-невидимо. Чем мы отличаемся, от мидий, устриц и прочих моллюсков.... Да ничем, в сущности. И рапаны среди нас встречаются. И брюхоногие – не редкость. Строим раковинки-дома, обрастаем детьми, вещами, обидами и болезнями. А потом – раз. И нет домика-раковинки. И ничего нет. Не обольщайся, если нежишься во льду, на серебряном блюде. Значит, ты и есть та самая, королевская устрица. Тебе ещё предстоит корчиться и пищать под лимонным соком.

13 июля

На перекрёстке у моего дома отключился светофор. Образовался небольшой затор, и я, проходя мимо, увидела за рулём авто знакомую.

В первые секунды показалось, что это очень похожая на неё женщина, – таким разительным было отличие от той, застенчивой, тихой и милой, от той – которую я знала, и считала, что знала хорошо.

За рулём сидела властная, уверенная в себе леди, с резко очерченным, жёстким – хищным? – профилем, с идеально прямой спиной.

Я не видела её глаз – и, слава Богу. Не хотелось бы сейчас столкнуться взглядами. Будет искрить.

У той, которую я знала, взгляд был мечтательным, тёплым. Серые глаза источали какой-то особенный свет, и мне было уютно и легко в этом свете.

Метаморфоза была столь неожиданна, что я по сей день думаю, сколько лиц у моей знакомой?

У меня?

Какое из них настоящее?

22 июля

Вечер.

Всего лишь один июльский вечер в Одессе. Клезмерская музыка в городском саду. Печалит и радует душу скрипка. Танцуют дети и взрослые.

Милая барышня-цветочница, байки и байкеры, белый экипаж, запряжённый парой прекрасных белых лошадей, скучающий возница – на Дерибасовской.

Памятник Вере Холодной с неизменным

букетом цветов – на этот раз в руке, и с платочком на шее. Компенсация за украденную розу?

Голоса и лица мягче, нежнее, загадочнее. Не хочется верить ни в страшное «вчера», ни в неведомое, но не менее страшное «завтра».

Хочется верить только в этот летний тёплый вечер, в музыку, в цветы и облака над отдыхающим от дневного зноя городом.

Хочется верить, что эта благодать и этот покой уже оплачены нами сполна.

24 июля

Летняя гроза. Сверкающая струящаяся стихия, долгожданная и вожеленная. Молния ударяет где-то совсем рядом, и сразу же раздаётся раскат грома. Не успеваю досчитать до трёх.

Привычка считать, после того как сверкнёт молния – из детства. Из такого далёкого, что теперь кажется не моим, придуманным, приснившимся. Мною самой и придуманным, наверно. И мне же приснившимся.

Мама грозы боялась. Закрывала окна, плотно задёргивала шторы. А папа брал меня на руки и говорил:

– Считай. Сверкнёт молния – сразу начинай счёт. Один, два, три... Не торопись. Как

только услышишь гром – дели число, до которого успела досчитать, на три. Шесть – на три – будет два? Правильно. Значит, гроза идёт в двух километрах от нашего дома. Не знаю, что меня успокаивало больше, папин голос или счёт, но я и сейчас спокойна во время грозы.

Сверкнёт молния – считаю.

Кажется, вот-вот раздастся папин голос...

Можно даже не оборачиваться, чтобы убедиться в том, что он рядом. Сейчас и всегда.

27 июля

Какие сегодня волны? Сегодняшние. И море – только сегодняшнее. Оно никогда не повторяется. Как не повторится это июльское жаркое утро.

В нём яхта идёт совсем близко, рядом с пирсом, на котором я стою. В нём шмель завтракает, покачиваясь на белых цветках мальвы. В нём огромный фонтан на пруду, что в парке Победы, и там – в фонтане – живут призраки. В самом же пруду полным-полно черепах и черепашек, больших и маленьких.

Стайки голубей у пруда смотрят (завистливо?) на плавающих уток. Хитрющая чайка чистит

пёрышки на крыше утиного домика. Парочка лебедей держится в сторонке от всего птичьего бомонда. Последнее воскресенье июля, прощай.

1 августа

Сколько морей переплываю я, чтобы добраться до «самого синего в мире»? Сон – море ласковое, цветное и чуткое, самое первое изо всех «морей». Встаю рано, часов в пять утра, легко и всегда с хорошим настроением, даже если вечером было грустно и тревожно. Жаворонок я. Город – море шумное, гудящее, скрипящее и шуршащее. Ленивые троллейбусы, солнечные звенящие трамвайчики, подвывающие маршрутные такси – «богданы», и вечно спешащие авто.

Это «море» давно уже вышло из берегов, и переплыть его задача не из самых лёгких. Переплываю и... оказываюсь на склонах, где дышит море зеленое, дрожащее, колышущееся, – птичья и букашечья обитель. Плывёт старая лестница – утлое моё судёнышко, в нём плыву и я, слушая, как по обе стороны гудит, говорит, шепчется оно – море каштанов, акаций, шелковиц, тополей, диких слив, яблонь, абрикосов.

Море песчаное... жемчужно-карамельное. Я давно изучила его клинопись с вкраплениями птичьих, собачьих, человеческих, кошачьих и неведомо чьих следов.

Море человеческих тел.

От мраморно-белых до красных, свежееобгоревших, от золотисто-бронзовых до смуглых, лаково-лакомо-шоколадных. Все «моря» позади. Я – у края земли. Можно отправляться в дальнее одиночное плавание.

2 августа

В моей телефонной трубке живёт множество голосов. Ласковые и грубоватые, вкрадчивые и искренние. Утренние – звенящие, дневные – будничные, суетливые, вечерние – усталые, приглушённые. Голоса ночные – тревожные. Никогда не знаешь, чего ждать от ночного звонка. Прощаюсь с голосами. Уезжаю...

7 августа

Проснулась в маленькой комнате, стены которой оклеены обоями цвета топлёного молока.

За окном – рябина, красномедные стволы сосен. Всё как прежде. Сейчас часы пробьют семь.

Какие часы...? Часы били в детстве.

Сверху упало несколько утренних ноток.

Кто-то лениво перебирал клавиши фортепиано.

Возникло ощущение далёкого, солнечного и ласкового августа, где всё спокойно и мирно, и мама жива, и всё ещё будет.

Сейчас мы встанем, быстренько позавтракаем и начнём собираться на автобус, а уже через несколько часов будем идти по пыльной нарядной улице, мимо палисадников с золотыми шарами, георгинами и астрами, к дому с синими резными наличниками.

В глубине сада мелькнёт белая косынка, сердце забьётся чаще.

Вместо привычных «до-ре-ми» сверху доносятся звуки вальса. Шопен...

Девочка, которую я никогда не видела, но слышала каждое утро и каждый вечер, выросла. Гаммы, этюды и экзерсисы – всё в прошлом. Я уверена, что это девочка. Был бы мальчик – была бы скрипка.

Но мамы давно нет, и синие наличники окон давно перекрашены в другой цвет, и в доме живут другие люди.

Неизменна только эта рябина за окном, эти красномедные стволы сосен в калужском бору, и

умиротворение комнаты с обоями цвета топлёного молока.

9 августа

Отыскать на старом сельском погосте могилу, на которой никто не был лет семнадцать, практически невозможно. Тем более – летом.

Вход перенесли – теперь он с другой стороны, там, где висится новенькая часовня.

Здесь похоронены мои предки по материнской линии. До седьмого колена. От самого первого – пра-пра-пра-пра-пра...деда, что был пришлым – из-под Южного Буга.

Здесьним крапиве и папоротнику нынешнее знойное сухое лето нипочём – вон как бушуют.

Идём с сестрой по сохранившимся в памяти приметам, почти наугад, находим ветхий, покосившийся крест. Надписи нет, всё стёрто дождями, снегами, ветрами – временем. Как нет и могильных холмиков – они сравнялись с землёй. Такое уж назначение у неё, у земли, уравнивать всё и всех.

– Теперь можно приехать осенью, когда листва облетит, и поставить крест в память о всех наших пращурах.

Сестра уверена, что это именно то место.

Я же ищу какой-то знак, какую-то приметку, и... не нахожу. Птица, ветка, цветок, жучок, стрекоза... Да хоть что-нибудь. Или кто-нибудь. С той стороны креста только растрескавшееся дерево – и всё.

Вдруг понимаю, что они – пращурсы мои – давно уже стали землей, на которой я сейчас стою, воздухом, которым дышу, дождем, снегом, травой, деревьями. У обочины, где синее вездесущий веселый цикорий, набираю сухую горячую землю, чтобы высыпать её на одном из кладбищ Калуги, – на могилу мамы.

17 августа

Времени на дневник совсем не остаётся. Схватываю на бегу обрывки, которые, возможно, сошьются потом во что-то, или так и останутся разрозненными.

Из снов – один, повторяющийся на протяжении многих лет. Мальчик из такого давнего прошлого, что кажется не моим.

К чему бы такие сны, когда уже всё случилось, когда жизнь была, и больше четверти века рядом со мной другой «мальчик»?..

В снах этих, странных и цветных, я – сегодняшняя – оказываюсь в старом маминем

доме, или около. И мальчик – из юности. Высокий, темноволосый. Первая любовь моих и не моих одноклассниц. Как сложилась его судьба, я не знаю. Возможно, что его давно уже нет в живых, а сны всё снятся и снятся.

А вдруг это не мои сны? Вдруг старый дом не хочет отпускать меня и видит во сне прошлое, где солнечно, где свет горел на веранде до утра, где ласточки лепили гнёзда под застрехой, вишня цвела, и яблоки падали, и губы пахли талым весенним снегом, где он – дом – был наполнен жизнью, и был сама жизнь.

19 августа

За две недели моего пребывания здесь никто даже и не пытался заговорить со мной на тему «кто прав – кто виноват». Вопросы были из разряда дежурно-вежливых: как вы там, что вы там, надолго ли на родину...

Тихо радуюсь. Врать о том, как у нас « всё плохо», я бы не смогла.

Как не смогла бы сносить и оскорбления в адрес многострадальной и давно ставшей мне родной Украины.

Избежать таких вопросов, всё же, не удалось. Женщина эта, назовём её Анной, когда-то

жила по соседству с моей сестрой, вышла замуж, переехала в другой район.

Я встретила её на одной из центральных улиц, когда плелась после трудного жаркого дня на маршрутку.

– Вот так встреча?! Вы как здесь, как беженка?

– Я у сестры. В гостях.

– Многие ваши здесь беженцами теперь. Пособие получают неплохое. Ну как там у вас?

– По-разному. В Одессе спокойно.

– Ну да, ну да... людей сожгли и успокоились.

– Почему успокоились?

– Потому что никто не возмутился, не восстал. Там всех вас надо судить! На море, небось, ходите.

– За что же нас судить? За то, что с нами случилась беда? За то, что город, почерневший от горя, заплативший непомерно высокую цену, смог сохранить мир? А вам бы хотелось, чтобы в Одессе было как в Донецке... Чтобы крови было больше?

– Ничего, недолго вашим осталось. И до вас доберутся!

От такой неприкрытой злобы я растерялась.

– Гибнут чьи-то дети, мужья, отцы. А если

завтра на их месте окажется ваш сын? Ему ведь лет двадцать, если не ошибаюсь. Вам не страшно?

Женщина плюёт (спасибо, что не в лицо), испуганно крестится, и уходит.

Я плетусь в сквер, сажусь на скамейку и пытаюсь прийти в себя.

«На море ходите... Недолго осталось...»

Мне и раньше приходилось сталкиваться с какой-то странной раздражительностью по отношению к одесситам.

Никогда не забуду, как на одном литературном фестивале один поэт орал мне в спину, что...

«Одесса (здесь цитирую дословно) как кость в горле, как саранча. Приехали – и все призы расхватили...»

Но то – фестиваль, и то – поэт, амбициозный, убеждённый в своей гениальности, мечущийся от непризнанности. Или от «звёздной» дури.

Здесь же совсем другое.

Вспомнился давний разговор с другом, который добровольцем решил пойти в Афганистан, уверенный в том, что это его долг.

Пытаясь отговорить его, я плакала, говорила, что нет никакого его долга, что долг у него перед

матерью да перед беременной Женькой, моей подружкой, его девушкой.

Он меня выслушал и уехал.

Его похоронили через полгода.

А через месяц у Женьки родился сын.

Теперь её сын может погибнуть на чужой земле, как и его отец.

У того, кто посылает мальчиков на верную гибель, втемяшивая в их головы бред о долге, рука никогда не дрожала.

Не дрогнет и теперь.

Война закончится. Выжившие вернуться домой.

И нам и им нужно будет как-то жить дальше.
Как?

Время подскажет, наверное.

Только бы скорее всё закончилось.

Уже в маршрутке вспоминаю о том, что сегодня Яблочный Спас – первые осенины. Выхожу у рынка, покупаю яблоки и освящаю их в ближайшей маленькой церквушке. Время яблочных пирогов пришло.

21 августа

Море снится...

Соскучилась.

Уезжаю ночью, и половины не сделав из того, что хотелось бы.

– Приедешь в октябре, – говорит сестра, – в свою любимую осень, и всё успеешь. – Самое главное, чтобы мир был, а всё остальное – ерунда. Справимся.

– Самое главное, чтобы мир..., – повторяю я под перестук вагонных колёс, и засыпаю, чтобы проснуться на границе, потом задремать, и снова проснуться – уже в Украине.

Самое главное, чтобы – мир.

Одесса встречает тёплым ветром, тихим вечером, привычной суетой на Привокзальной площади, пробкой на Пушкинской, небывалой красоты закатом, и таким родным «чисто одесским» говорком таксиста, что я забываю: здесь совсем рядом, за Привокзальной – Куликово поле. Забываю о беде. Но уже через минуту оборачиваюсь и вижу пустые глазницы окон.

Здравствуй, город.



Где-то между Россией и Украиной

13 октября. Ночь.

Проснуться посреди ночи от тишины. Не от шума и криков, не от приглушённых вагонных разговоров, не от шуршания дорожных сумок, пакетов и прочей дорожной клади, а от тёмной густой, глубокой тишины, и первые несколько секунд лежать неподвижно, затаив дыхание, чтобы не спугнуть её. Закрывать глаза и... взлететь. Увидеть, как далеко простирается ночь. Как дремлет поезд на каком-то неизвестном полустанке или разъезде, где ни фонарей, ни встречных поездов, только свет полной луны льётся на сонную землю. И там, в дремлющем поезде, разглядеть спящую, свернувшуюся калачиком на вагонной полке, девочку с крыльями. Вон они сложены за спиной – пёрышко к пёрышку, а на пёрышках лунный свет играет.

Вглядываться и удивляться: что же это за девочка, какое отношение она имеет ко мне, почти взрослой, почти серьёзной, и очень уставшей женщине, искать сходство и находить, и снова взлетать над поездом, и возвращаться, тревожась за неё, маленькую и беззащитную,

открытую вселенскому одиночеству, будто нет, и никогда не было никого ни в этом вагоне, ни в этом поезде, ни в этом мире, только одна она.

Встречный скорый разорвёт густую плотную тишь, и всё исчезнет. Поезд тронется мягко, почти бесшумно.

Я осторожно подойду к зеркалу в конце вагона, увижу своё привычное отражение, и вздохну облегчённо. Но на один лишь миг из самой глубины зеркала выглянет она. Маленькая девочка с крыльями. Моя душа.

20 октября

Позавчерашний день ещё и сегодня дышит во мне – серый, сырой. Небо низкое, тяжёлое. Возвращалась в Анненки (это в пригороде Калуги) со свинцовым небом на плечах, на сердце, на душе. Невесть откуда взявшееся солнце осветило верхушки сосен, и мир изменился до неузнаваемости. Хотела написать «наш мир», потом подумала: «Да какой он, к чёрту, наш! Что мы о себе возомнили? Нам бы сказать спасибо, что живём здесь, а мы после себя только продукты жизнедеятельности и норовим оставить. А ему миру – ничего не нужно. У него всё есть. И исконным обитателям

его – тоже. Это нам столько всего подавай, чтобы жить. И собачкам нашим декоративным. И кошечкам.

Чуть похолодало – и пошли рыться в шкафах, доставать из шухлядок тёплые вещи. Чужие мы здесь.

Всё, что плоть от плоти этого мира не требует никаких дополнительных удобств и приспособлений. Просто живёт себе и ему – миру – на радость.

Вон два диких яблочка загостились на ветке. Завтра их не будет, а ветка останется, перезимует, а по весне зацветёт, прилетят пчёлы. И снова поспеют яблоки. Не для чего-то, а просто поспеют – и всё. У них для этого всё есть. Ветка, яблоня, корни, земля, солнце... Сегодняшний дождь. Завтрашний снег. Дождь будущий – весенний. Любовь. Яблокам быть. Не быть им только в одном случае – если человек влезет своими ножищами и всё растопчет.

20 октября

Без малого год. Всего один только год, перевернувший с ног на голову всё, чем жили мы во времени «до». Сегодня многие рассуждают о том, что можно было бы предотвратить, если

бы... О, это вездесущее «если бы», жалкие остатки надежды, последняя возможность хоть за что-то уцепиться.

Но мы-то знаем, что не бывает никаких «если бы». Нет в истории сослагательных наклонений. А есть страшный год, чёрный, переполненный ложью, ненавистью и болью год.

Через месяц люди будут вспоминать Небесную Сотню.

Она давно уже исчисляется тысячами погибших.

Разрушенные дома, взорванные мосты, изувеченная земля.

Но самое страшное – души, отравленные ненавистью. Таким он стал для моей Украины, этот чёрный год.

Кажется, что война идёт давно.

Её всё ещё не объявили.

А она идёт и идёт. Как все войны, которые происходят и идут независимо от объявлений.

Знать бы ещё, почему.

Мы же умнеем, вроде? Мы становимся лучше? Разве, нет... Должны же мы хотя бы мудреть. Ум без разума – беда. Память наша коротка.

Ручонки длинноваты.

Смотрю из сегодня во вчера, и вижу многое и...

И понимаю, что ничего не понимаю.

Знаю только, что:

Нам не вернуться в довоенное безмятежное существование.

Не возобновить дружеских сестринских отношений.

Между нами не просто вражда – между нами вражда кровная – замешанная на крови. Нам не вычеркнуть этот год, не выбросить его из жизни.

И детям нашим уже не суждено сделать это.

И внукам.

Между ними – кровь.

Чтобы «кровь ушла в землю», и на этой земле выросли розы, яблоки и виноград, нужно гораздо больше времени, чтобы пролить её.

Нужно, прежде всего, чтобы окончилась война.

День её окончания станет точкой отсчёта нашего пути навстречу друг другу.

Я очень хочу, чтобы этот день наступил как можно скорее.

А вы?...

р. с. Сегодняшний день выдался менее дождливым, и я, торопясь в осень, отправилась

бродить по мокрой Калуге – не так много осталось времени, чтобы «поговорить» с малой родиной.

На площади Победы шла смена почётного караула.

И сразу вспомнилась родная, далёкая моя Одесса, где сейчас, невзирая на погоду и непогоду, у памятника Неизвестному матросу точно так же несут вахту юные одесситы. Кто рассорил нас?

Кто внушил нам, что мы – враги?

Господи, как же можно было допустить подобное! Вопросы, вопросы...

Посеявший ветер – пожинает бурю.

А что пожинают посеявшие бурю?

25 октября

– Подскажите, пожалуйста, как пройти к палатам купца Коробова?

– Молодой человек, не подскажете, как пройти к палатам купца Коробова? Там ещё музей...

– Пожалуйста, подскажите, как пройти к палатам купца Коробова?

– Прощу прощения, не подскажете, как пройти к палатам купца Коробова? Музей там, говорят, был...

Наконец, миловидная женщина, судя по правильной речи, филолог или библиотекарь, отвечает утвердительно, и показывает как пройти к этим самым палатам, дорогу к которым, если честно, я хорошо знаю. Просто захотелось узнать, знают ли её местные жители. Помнят ли.

Она не только указывает мне путь, но и рассказывает историю этого дома, историю других палат – купца Макарова, которым повезло меньше. Они тоже сохранились, но в них находится обычный жилой дом. А людям – им ведь комфорт подавай. Что с того, что живут они в уникальном строении семнадцатого века, которое памятник архитектуры, со всеми вытекающими и текущими последствиями. А это значит ни тебе балкон пристроить, ни ванну, ни стеклопакеты вставить. Правда, жители палат купца Макарова ничтоже сумшняхся вход на второй этаж себе обустроили, сломав балкончик, который был ну очень похож на коробовский. Да и каково это, в памятнике архитектуры жить. В городе, который весь в этих памятниках, который сам – памятник.

По улицам ходить, голову задрав, жутко неудобно, скажу вам – по себе знаю. А люди-то ходить привыкли (те, кто ещё не разучился

ходить) опустив головы, под ноги глядя.

Во-первых – спотыкач не нападёт.

Во-вторых – может, кто чего обронил, зевая по сторонам и по верхам.

Ладно, всё это шуточки.

Стремление задавить, спрятать, стереть лик города наблюдается не только здесь, в Калуге. Результат налицо. В том смысле – что без лица. Что ж...

В прошлом году в Одессе гостила одна моя давняя знакомая. Так вот, сестра этой знакомой утверждала, что памятник Пушкину в Одессе один.

Всё бы ничего, вот только живёт оная дама в Одессе уже без малого лет сорок.

А в целом – здесь всё не так уж и плохо.

У старой Калуги ухоженный вид, домики ладные, аккуратненькие, чистенькие.

Тротуары в плиточке, деревянных (а они здесь были – с отцом сколько раз бродили), не нашла, не сохранились. Мостовые...

По таким дорогам можно летать.

Значит, есть у города хозяин. Палаты купца Коробова ничуть не изменились. Дом всё такой же нарядный, «игрушечный», «пряничный».

Обхожу его со всех сторон по уже сложившейся привычке и вижу надпись на одной из боковых стен, от которой предательские слёзы текут в три ручья:

«Мне тебя не хватает!»

Надписи такие случались в моей жизни нечасто, но уж если и случались, то имели самое прямое отношение именно ко мне. И мне тебя не хватает, родной, милый сердцу моему, русский городок!

28 октября

Здравствуй, душа моя, Тряпичкин! Помнишь, я обещала тебе рассказать об утерянном безвозвратно кардиганчике? Так вот, был он цвета мечты и из неё же, из мечты, выткан: тоненький бирюзовый, лёгкий – как моя душа.

Купленный в Одессе, на Староконном, за какие-то «смешные деньги», он стал любимым ещё до того, как я его купила.

Бывают такие вещи. Смотришь на неё и понимаешь – твоя.

Уверена, что ты, душа моя, Тряпичкин, понимаешь, о чём я.

Пока я бродила по здешним улицам, коих не видела лет... много, открыв рот, кардиганчик

болтался на ремешке сумки – за спиной.

Вот он, в моих руках, на фотографии, где я сижу у фонтана.

Сейчас этот фонтан спит, а тогда...

Тогда была середина августа, первый Спас, который здесь ещё зовут Спожинками.

По утрам прохладно, туманно и росно, днём жарко – обычное явление для этих мест. На одной из улиц я увидела авто в тон своим летним брючкам, и принялась его усиленно фотографировать, попискивая от восторга.

Машины не люблю, если честно.

Лучшая машина, в моём понимании, это конь.

Но эта была разрисована так, что мимо пройти невозможно. И я не прошла.

Потом, когда обнаружилась пропажа кардигана, я поняла, что нельзя вот так восторженно пицать на каждом шагу, и ничего не подарить городу.

В тот приезд я поклялась, что в следующий раз обязательно подарю что-то на память.

Что-то своё.

Что-то такое, что сможет стать и его, города.

Вчера, увидев уличные библиотеки, поняла, что я смогу подарить Калуге.

Конечно же, книгу. Свою книгу.

Ощущение было такое, будто бутылочную почту отправляю.

Тебе, Калуга.

За всё прошлое и настоящее, с любовью.

Оставайся такой, как ты есть, русской, купеческой, космической... *окуджавной и циолковской.*

Моей.

Не теряй своего лица, своих церквей, колоколенок, теремов и палат, домиков с крылечками и резными наличниками, не сдавайся.

31 октября.

...как только поезд тронулся, началось уже хорошо знакомое кружение слов и строк, и образов, несмотря на то, что в Брянске предстоял переход с одного места, которое верхнее, и которое никак уже не осилить мне в силу когда-то сломанного плеча, на нижнее – такой вариант предложила девушка в билетной кассе Калуги, за что я ей очень и очень благодарна.

Ещё и дешевле получилось, чем обычно.

Я ведь тебе говорила, что с билетами теперь сложнее.

И не только с билетами.

Пролетели мимо станции с кровным и таким родным: «ичи».

Сухиничи.

На моей малой родине топонимика ими изобилует: Нехочи, Пеневичи, Палькевичи, Думиничи, Бояновичи, Хвастовичи.

Жиздра – речка и Жиздра – городок уездный.

Жив, боярин? Здрав, боярин.

Судимир – станция, с которой однажды началось моё «большое одиночное плаванье». Брянск. Граница. Таможня.

Сумерки ранние – к переводу часов ещё не привыкла. Время тянется, ленивое, густое, вечернее.

Конотоп. Ещё одна таможня. Украина.

Я не помню, на какой станции вошёл этот мальчик. После Бахмача, кажется. На вид – лет 25-27. Загар на гладко выбритом лице странный. Не пляжный. Не южный.

– Мальчик?

– Мальчик, родной мой, конечно же, мальчик. Вы все мальчики, даже если мужи и отцы семейств. Все вы мальчики. И любить вас надо и баловать, как детей, хотя и держать в строгости.

– А вас – девочек, не надо любить и баловать?

– И нас надо. Только иначе. По-другому. Мы, видишь ли, сильнее. Не упрямысь, пожалуйста. Мы сильнее и мудрее. И взрослее вас. А вы – вечные дети. Прости.

– Ладно. Ты говорила о мальчике...

– О мальчике. О том, как из кармашка его сумки выпало что-то чёрное, и я сразу поняла, что это. Потому что видела такую «шапочку» и у тебя.

А вот соседка по купе не видела, подняла и сказала: «У тебя шапочка упала...».

А шапочка развернулась. Балаклавой эта шапочка называется.

И сразу стало понятно, откуда этот странный загар.

Соседка по купе начала его расспрашивать, что там, да как там. Он рассказывал, не то, чтобы неохотно, но сдержанно. Без эмоций. Не рисуясь, не матерясь. А я слушала. «Во все глаза» слушала. И всё соседнее купе справа. И слева.

Он возвращался из отпуска в зону АТО. Старлей.

Оставшиеся три дня отпуска решил провести в Одессе – у друзей.

«Если выживу... Если вернусь... ». Страшно слышать это из уст мальчишки. Тоненького, высокого, шмыгающего носом.

Ну и что, что ты в двадцать пять отцом стал, а в двадцать два ротным. Ну и что?! Ты и теперь – мальчишка. Не злись, пожалуйста.

«Наш главный враг – внутри страны. Те враги, что снаружи, с ними мы быстро справимся. Люди нас хорошо поддерживают. И одеждой и продуктами, и лекарствами. А кто и техникой. Если б не этот внутренний враг, мы давно бы уже внешнего одолели...»

– А ты говоришь, мальчик. Он всё правильно понимает.

– Да. Взрослый мальчик.

«Как только не называют нас сейчас. И укропами и украми, и салоедами. Раньше только хохлами – и как-то не обидно было. А теперь, если честно, обидно. Я – украинец. Горжусь этим. И неньку свою, Украину, не оставлю. Не предам...»

– А на каком языке говорил-то?

– На русском языке, родной. Думаю, что во фразу «я – украинец», вкладывал этот мальчик нечто большее, чем национальность. И вот за появление этого нечто большего и заплатила

чудовищно высокую цену украинская земля, украинские матери, потерявшие своих детей, овдовевшие жёны, осиротевшие дети. И продолжает платить.

– Что ещё он говорил, что?

В глазах мужа вижу знакомый огонёк. Сказывается немалый стаж воинской службы.

– Не помню. Он много чего говорил. Но ничего лишнего.

– Молодец.

– Молодец. Повернулся ко мне (видел, что слушаю во все глаза и уши), айфон протянул: «Это мои родители. Мой дом. А это... дома в зоне АТО. Там тоже было всё хорошо до войны...».

Сколько было станций, кто выходил и входил – ничего я не видела и не слышала.

Купе наше уснуло только под утро.

А утром...

Ты же знаешь, как всё бывает утром в поездах дальнего следования.

Суета.

Утренний чай. И время тянется, сонное, ленивое, утреннее.

Веселиново, Сербка, Степовая...

Мальчик спал. Я почему-то была уверена, что

проснётся он вовремя, и всё успеет. Взрослый он. Военный взрослый мальчик.

Так оно и было.

В Одессе меня встречал мой взрослый мальчик. Наш с тобой сын, который родился здесь, на этой земле. Обнимаю сына.

Мысленно несколько раз перекрестила того, чужого вроде бы, но тоже своего: «Храни тебя Господь, сынок. Возвращайся целым и невредимым к матери и отцу. Вырастили они тебя хорошим человеком. Настоящим...»

Город встречает привычной суетой. Сытые, холёные, откормленные лица на уличных плакатах, глаза, в которых ничего человеческого...

Только жажда.

Жажда наживы.

Жажда власти.

Алчба.

Чем оплатят они жизни таких, чужих им, но своих для этой земли, мальчиков. Понимают ли, что платить придётся?

Ладно. Не о них сейчас речь.

А о чём... о ком...?

О том, что дорога домой, какой бы она ни была, всегда заканчивается у домашнего порога, там, где начинается дом, тёплый и светлый.

Потом будет другая дорога – только уже из дому. В сущности – вся наша жизнь – и есть дорога.

О том, что ничто человеческое людям, по-прежнему, не чуждо.

И ненависть наша и злоба, всё от ... лени. И от чудовищной лжи. Но прежде всего – от нежелания думать. Гораздо легче проглотить пилюлю от головной боли, чем искать причину этой самой боли.

Так и здесь. Гораздо легче выслушать очередную галиматью СМИ и принять её за правду, и жить, отравленным этой «правдой». Гораздо труднее думать и зрить... Правильно, мой родной, зрить в корень. Имеющий глаза – да увидит.

И ещё о том, что рождение всегда связано с кровью, муками и жертвами. Нет здесь никаких случайностей, нет ничего бесполезного и напрасного. Но есть страдания и боль, через которые и проходим мы все, каждый, в той степени, которую способен понять и принять.

4 ноября

Яблоко от яблока падает.

Падает – к яблоку, снится – к яблокам, пишется – к яблокам.

Ночные «яблочно-осенние» бдения вылились в стихи, где, конечно же, зримо и незримо зреют яблоки.

Яблоком в утро упал телефонный звонок.

Звонит Волшебница.

Где, в каких мирах летала сегодня моя неуёмная душа, я не знаю. Знаю только, что там были яблоки.

И Волшебница моя об этом знает. Мне даже кажется, что они частенько летают вместе. Иначе, откуда бы она узнала о моей мечте?

Впрочем, она ведь Волшебница, а волшба – дело такое...

Ты всегда знаешь несколько больше о том, кого любишь. Больше, чем он сам о себе знает и способен знать. Больше, чем ему нужно знать о себе.

В маленькой стеклянной бутылочке спят яблоневого семечки – мой яблоневый сад. Семечкам снятся яблоневое дерево и яблоки на нём, и птица на ветке.

Я вижу их Сон. Он из прошлого – в нём уже цвели яблони, клонились тяжёлые ветки к земле. Он из будущего Он из моей мечты. Он и есть мечта. Молитва.

«За этот ад, за этот бред, пошли мне сад...»

Есть семена – яблоням быть и саду. И мечте.
Я теперь как кот Орион, который носил
Галактику на шее («Men in Black»).

Я ношу Сад.

Прошлый. Будущий. Настоящий.

Не сказала самого главного: мою Волшебницу
зовут Ольгой, и я её очень люблю.

15 декабря

Слово, неосторожно брошенное в разговоре,
как камень в его – разговора – неторопливое
и привычное течение, пало на дно и там
затаилось.

А круги от него идут и идут, не успокаиваясь,
не исчезая, волнуя и заставляя мучиться в
поисках ответа на вопрос: зачем, зачем это слово
было выпущено.

Сознательно, или же по глупости –
неосознанно. Но всё, что неосознанно, спит в
подсознании.

До поры, до времени.

От равнодушия. От сытости.

От страшной сытости сытых, что зовётся
пресыщением.

Что теперь делать с этими кругами,
расходящимися от брошенного слова-кирпича.

Огорчает, что брошен камень человеком близким.

Не чужим.

Или только кажущимся таковым.

И от этого больно, как больно и за этого мнимого близкого.

Ещё одна иллюзия, прощай.

26 декабря

О чём и о ком плачут города?

О детях своих.

О тех, которых отпустили во взрослую трудную жизнь, и успокоились, и стали равнодушны и жестоки.

Ночной ветер принёс капли тёплого зимнего дождя, смешанные со стихами.

Так значит, ты всё помнишь, город?

Эхо лёгких шагов хранят твои улицы, и не исчезло, не растворилось в бездонных пустотах небытия бирюзовое, хрупкое имя её.

Какими-то окольными путями вела меня к ней судьба.

Мы жили в одном городе, ходили одними улицами, встречались с одними и теми же людьми.

Казалось бы, чего уж проще было бы столкнуть

нас лицом к лицу где-нибудь на Пушкинской,
или в городском саду, у фонтана.

– Привет.

– Привет.

И всё дальше было бы просто.

Или... не было бы.

Не случилось.

Не судьба.

Но судьба открывать стихи наугад, и каждый
раз неметь от узнавания, от того, какие они *мои*,
её стихи.

В одном городе со мной жил да был человек.

А потом его не стало.

Как расточительны и слепы мы бываем.

Непростительно беспечны и равнодушны к
тем, кто живёт и ходит рядом.

Пока ещё живёт.

*«Живем и любим, не спеша –
Кто во грехе, кто в мелком блуде...
Парализована душа,
А значит, и стихов не будет...»*

Не пишу о стихах, потому что писать о них
не умею.

Плохие стихи принято ругать, хорошие –

хвалить, но ведь читателю нужно не это. Ему нужны сами стихи.

Он всё услышит и прочтёт, и поймёт, что плохо, а что хорошо, что своё, а что чужое – на то он и читатель.

Да, поэзия – она всегда субъективна.

Я – о настоящей поэзии.

О той, которая из боли и с болью.

Чтобы случилось такое – душа должна *б ы т ь*
и *б о л е т ь*.

И наоборот.

Чтобы душа болела и *б ы л а*, нужны стихи.

Такие, как у неё, у Марины Хлебниковой (Дёминой).

Близко-близко, где-то совсем рядом летит она сейчас.

Даст Бог, не разминёмся.

15 января

Рассыпалось и исчезало на глазах таинство новогодней ночи.

Первый день нового года тихо и незаметно перетекал в вечер.

Где-то за стенкой пела женщина.

Пела-напевала знакомый с детства мотив маленькой колыбельной из старого доброго

фильма, без слов, без музыки.

Слова сами собой оживали в памяти, выплывали из далёких январских сумерек, серебряных и лиловых, хрустящих, крахмально-праздничных, как белая скатерть на круглом столе.

Женщина пела.

И вместо привычных, непрекращающихся споров, лая собак, мяуканья кошки, бряцанья кастрюль и свиста чайника, вместо топота и стука, вместо дверного скрипа, вместо тысячи других звуков, притихший дом слушал маленькую колыбельную и покачивался в сладкой дрёме.

Изредка раздавалось постукивание, как если бы кто-то что-то помешивал.

Я вдруг отчётливо увидела её, стоящую у плиты, и помешивающую что-то в маленькой кастрюльке, от которой поднимался пар.

Тонкий запах корицы, смешанный с новогодним апельсинным запахом, с пряным гвоздичным ароматом, проникал в самые глубины памяти, пробуждая далёкие, спящие крепким сном воспоминания.

Вот она осторожно сняла дымящееся варено с огня, перелила в чашку и, дожидаясь, пока оно остынет, подошла к окну, за которым

похрустывали лиловые, морозные январские сумерки.

Постояла у окна, зябко повела плечами, плотнее закуталась в серую пушистую шаль, пригубила отвар и... исчезла.

Стало тихо.

Хлопнула дверь вниз, раздались молодые радостные голоса, смех.

Дом проснулся.

Где-то играла музыка, раскрывались соцветия фейерверков на совершенно ночном, и почему-то совсем беззвёздном небе – люди провожали первый день нового года.

А во мне всё звучала и звучала маленькая колыбельная из старого фильма, которую любила напевать – вот так же без слов и музыки – мама, и вкус яблоч, и запахи корицы, апельсина, гвоздики и кофейных зёрен – бодрили и согревали, вселяя надежду.

Вместо ссор и споров, скандалов и криков, вместо новостей о раненых и погибших, о взрывах и пожарах, плыла в январских сумерках колыбельная из старого доброго фильма.

И было ощущение тепла – внутри и снаружи.

И умиротворение.

Будто кто-то погладил меня по голове ласковой и тёплой ладонью.

12 февраля

Человек привыкает ко всему.

Не только к хорошему.

Вчера ночью вздрогнул дом, осколки оконных стёкол со всхлипом осыпались на лестницу. Кусок стекла вылетел из окна на лестничной клетке.

Рамы там старые, стёкла из разных кусков – едва держатся.

«Опять рвануло где-то...», – как-то слишком спокойно я отправилась на лестницу убирать осколки.

Было начало двенадцатого ночи.

Ночи морозной и ветреной, тревожной и бессонной, как потом оказалось, и долгой. Привыкаю к таким ночам.

Почти привыкла...

Какое-то жуткое ледяное спокойствие внутри и полное отсутствие страха.

Раньше вряд ли высунула бы нос на лестницу ночью. Даже при закрытых дворовых воротах.

Раньше, на словосочетание «тревожный чемоданчик» неуёмное моё воображение рисовало забавный маленький, почему-то жёлтого цвета чемоданчик, из которого торчали во все стороны рукава, воротники, носки...

После случая с обрушением стены,

прилегающей к дому, собрала документы, несколько старых фотографий и писем в один пакет.

Вот и получился «тревожный чемоданчик».

Глупо...

Из новостей узнала, что взрыв был совсем рядом – на Подбельского.

На Коблевской то бишь.

Потому и стекло не выдержало, наверное.

Стёкла не так прочны, как люди.

Вот и бьются...

19 февраля

Новолуние.

Новый год по китайскому календарю.

До весеннего равноденствия чуть больше месяца.

Есть надежда, что весна будет ранняя.

И что она – весна – будет.

Сегодняшняя ночь принесёт вещие сны.

Даже если не запомнятся, то всё равно сбудутся.

Смотрю на яркий февральский день из окна, прошу, чтобы приснилось что-то хорошее, пытаюсь настроиться на сон: свечи, музыка, мысли...

Я жуткая соня – могу проспать сегодняшней вещей сон.

Такое уже бывало и не раз.

Просыпаюсь и ничегошеньки не помню.

Знаю, что снилось что-то, а вот что?

И только потом, когда сон сбывается, вспоминаю.

Со свечами и музыкой всё просто, а вот как быть с мыслями, которые как заезженная пластинка, только об одном.

Но в сегодняшнее моё настроение проникает звук серебряных колокольчиков, и растекаются оттенки лилового, сиреневого, фиолетового – они живут в друзьях аметиста, в ранних закатах и рассветах, в спящих гроздьях сирени, что растёт в моём дворе, в ирисах-касатиках, что растут на маминой могиле за тысячу вёрст отсюда.

Нептунианские штучки.

Орхидеи мои обиженно вздрагивают: а мы как же? Мы же самые что ни на есть нептунианочки.

И фиалка, живущая отдельно – на кухонном окне (удивительно, что она не только выжила, но и зацвела) молчаливо соглашается с ними.

Помню.

И чувствую, что уже совсем близко – стихи.

Тончайшие, лёгкие, полупрозрачные –
акварельные.

Мои ли?

23 февраля

Тянутся дни.

Смутные, налитые свинцовой тяжестью
происходящего и уже произошедшего.

События годичной давности не отделились,
не забылись, стали ещё ближе.

Ещё страшнее.

Ещё светлее взгляды и лица погибших.

Всех – без исключения.

Там – наверху – разберутся, кто светел, кто
нет.

Идут поминальные дни.

Молчать тяжело.

Говорить – бессмысленно и ещё тяжелее.

Поэтому – молчу.

Сижу в «зрительном зале», молчу и молюсь.

У кого-то из пытающихся сделать всех
счастливыми и успешными (когда-то, валяясь
на больничной койке, я штудировала тонны
подобной писанины), есть вполне удачное, на
мой взгляд, определение нашего бытия.

О том, что весь мир – театр, напоминать не

буду, это знают даже те, кто понятия не имеет о Шекспире.

В разное время мы занимаем разные места в театре.

И меняемся.

Сегодня ты зритель – завтра – актёр, послезавтра – автор *пьесы*.

Давно заметила, что в зрительном зале усидеть непросто, даже когда сидишь осознанно.

Тебя постоянно выдергивают на сцену.

Письмами, телефонными звонками, суть которых пустословие и напрасно потраченное время.

Твоё время, разумеется.

Тот, кто находится по ту сторону трубки, считает, что вы задушевно беседуете, несмотря на то, что беседа эта – суть монолог о том, как где-то сейчас плохо, и как нам от этого хорошо.

– Нам нужно думать о том, как у нас, и что у нас. Видеть хорошее, радоваться хорошему, быть творцом этого хорошего, – я безуспешно пытаюсь вставить несколько слов в непрекращающийся монолог о том, как где-то всё плохо.

– Ты слышишь меня? Нам надо думать о нашем «плохо», и стараться, чтобы это самое

«плохо» нас не угробило окончательно, понимаешь?

Когда мы, наконец, перестанем жить с оглядкой на кого-то.

В ответ – новый виток красноречия, и осознание: я давно уже не в зрительном зале, я на сцене, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что ж... видимо, это мне испытание такое, в Прощёное Воскресенье выслушать всё, сказать «прости, если когда вольно или невольно, словом и делом...», и положить трубку.

Не могу сказать, что меня не волнует, что там и как там сегодня в России.

Это – моя родина, и происходящее там бьёт по самым болевым, по самым сокровенным точкам.

Ещё больнее от происходящего здесь, в Украине, на земле, которая всегда была родной, а теперь стала ещё ближе, ещё роднее.

Радоваться чужой беде никогда не стала бы.

Тем более, что беда эта мне не чужая.

p. s. И праздник сегодняшний не чужой.

В той армии, которая теперь некоторыми(и которым не мешало бы заглянуть в семейные

фотоальбомы) зовётся «оккупантской», а не освободительной, в разное время служили мой дед, мой отец, мой муж.

Дед дошёл до Берлина.

Как-то так.

Удаляюсь в зрительный зал, размышлять о смысле слова «манкурт».

Самое время.

Гадание на кофейном вдохе

3 марта

Успеть...

Снять кофе с огня на вдохе, затаив дыхание.

Кофейный вдох золотится, пенится терракотовым кружевом и принимает причудливые очертания грядущего.

Гадание на кофейной гуще старо как мир, и говорит о прошлом.

Гадание на кофейном вдохе сулит открытие грядущего. Этому меня научила любовь.

К утреннему, изысканному и благородному в своей неповторимой горечи, чёрному кофе.

Сердечки и тонкие лунные серпы, вздрагивающие кошачьи уши в густых зарослях очерета и дрожащие тополя на закате, перистые

облака и птицы, летящие на восход, улыбка чеширского кота, лента мёбиуса, дом у дороги... падающие яблоки.

Чего только не сулили мне утренние кофейные вдохи.

Если в кружеве кофейной пенки проглядывало солнце – значит, день будет солнечным, несмотря на туманную влажную взвесь за окном.

Поначалу я сомневалась.

Но, выходя из дому в стылость и серость, неизменно встречала улыбающихся котов и людей, парящие в туманной невесомости дома, обнажённые ветви деревьев, и на душе становилось легко, светло и солнечно.

Тонкий лунный серп предвещал дальнюю дорогу, сердечко – добрые вести.

Были и тревожные предсказания, и тогда кофейный вдох опадал быстрее, чем я успевала сделать первый глоток.

Здесь всё просто – никаких аллегорий.

Смотри на кофейный вдох.

Первое, что увидится, и есть твоё сегодня.

Мне увиделось пламя свечи. Нервное дрожащее, похожее на одинокий лист осины.

Вздروгнули очертания, и затеплились тихим золотом.

Тонкий абрис проступил на мгновение и исчез.

Вспомнилось всё.

Печальное событие дня сегодняшнего стало ещё ближе, ещё печальнее.

Горит человеческая жизнь свечой на ветру.

Чуть сильнее ветер – и нет пламени.

Но остаётся Свет.

И свеча.

13 марта

Болтаюсь где-то между Ураном и Плутоном, едва дыша.

Ожидаю солнечное затмение.

Оно случится, и можно перемещаться в весеннее равноденствие, и успокоиться затмением лунным.

Балансируя на тонкой, почти невидимой грани равнодушия и равновесия, из последних сил удерживая последнее, очерчиваю охранный круг.

Непроницаемый для дурных вестей, настроений и слов.

Сквозь него свободно проникают ночные шорохи, лунный свет, голоса весеннего утра, шелест книжных страниц...

Книга, перелетевшая через океан, хранит тепло
руки и взгляда.

Открываю осторожно, и вот я уже внутри
книги, где всё узнаваемо, но иначе.

Ночь.

Мерное неторопливое дыхание моря.

Страницы под рукой наполняются ветром, я
стою на палубе каравеллы, и все паруса подняты,
и курс – на рассвет.

Это дрожит лепестком пламя свечи, освещает
круг изнутри, наполняет тонким медовым
запахом воска.

Просочился вчерашний дождь и остался –
льёт третьи сутки.

Стекают воспоминания, чужие ли – мои ли,
не различить.

Слова приблизились, наполнились цветом,
обрели очертания.

Ожившие силуэты смешались с дождём,
растворились и... всё началось заново.

Предчувствие беды притаилось за
очерченным кругом.

Увядшим цветком орхидеи опало и унеслось,
подхваченное водным потоком.

Что станет ему берегом?

Где окончится его путь?

Увядший цветок орхидеи вернётся ко мне – следуя законам круга и круговорота всего в природе, а с ним вернётся и предчувствие беды.

Постучит в полупрозрачную ткань очерченного круга, заглянет в глаза.

Я его не узнаю.

Сообщение об очередном ночном взрыве вызовет не больше эмоций, чем очередное повышение цен, чем чей-то назойливый взгляд, прилипший к защитной оболочке очерченного круга, чем чьи-то дряблые, густо напomaженные, улыбающиеся губы.

Пожалуй, я даже улыбнусь в ответ.

Балансировать на тонкой грани, между равнодушием и равновесием, становится привычкой, но по-прежнему, отбирает много сил.

Тем более, накануне полного солнечного затмения.

18 марта

Мартовский снег живёт недолго.

У снега короткий век.

В чём измеряется снежный век?

Век лунный, век солнечный...

Чело-век.

Песчинка падает на дно песочных часов.

Яблоко ложится в густую влажную траву.

Дождь идёт.

Снег.

Пока он шёл, случились стихи, чья-то жизнь, чья-то смерть, рождение, и снова стихи, и снова жизнь.

У наших здешних воплощений своё, собственное время, в чём бы ни проявлялись мы, кем бы ни были.

Лечу снежинкой, среди тысячи тысяч таких же снежинок, куда-то спешу и не успеваю.

Время уходит, утекает, с ним исчезает что-то важное, то, что уже не вернётся ко мне.

Что это?

Непрочитанное, ненаписанное, невстреченное мной.

Снег идёт над рекой моего детства.

Там один берег – пологий, другой – крутой, в нём гнездятся ласточки-береговушки. Это случается в мае.

В марте случаются грачи, проталины.

И снег.

Для огромного серо-синего камня-валуна на берегу, я – снежинка, летящая в мартовском небе, тающая на лету.

Что ему до моих тающих тайн и переживаний.

Он был здесь задолго до меня.
Будет и после.
У него свой век.
Влажной тёмной бороздкой на сине-сером
монолите след.
Моя жизнь...
Его слеза?

29 марта

Рыба... русалка, утопленница?
Погружаюсь в прохладную зеленоватую воду.
Вокруг причудливые заросли кораллов, гроты
из белого, жёлтого, синего камня, серебристые
рыбы-дирижабли, стайки разноцветных
флуоресцирующих рыбок-малюток.

Подводный «ковыль» волнуется при каждом
движении.

Струящиеся донные барханы обнажают и тут
же прячут огромные раковины-жемчужницы.

На какой-то миг оказываюсь на поверхности,
слышу крики, вижу бегущих людей, горящие
здания.

На берегу маленькой бухты светловолосый
мальчик играет на флейте.

Закрываю глаза и плыву туда, где разливается
нежная мелодия.

Кто я? Рыба... русалка, утопленница?

Знаю только то, что жива.

Под водой дышится легко, каждое движение лёгкое, летящее.

Плыву или лечу на волшебные звуки флейты.

Чья-то сильная и властная рука вытаскивает меня из воды.

Наваливаются тяжесть и страх.

Здесь воздух пропитан гарью, болью, ужасом.

Отчаянно сопротивляюсь, пытаюсь вырваться из цепкой «спасительной» десницы, но тщетно.

Меня бросают на песок.

Всё здесь тяжело.

Дышать, двигаться, смотреть.

Но самое тяжёлое, это боль и страх.

Из последних сил пытаюсь поползти до воды – идти не могу, просто не умею.

То, что ощущается как ноги, на самом деле огромный чёрный хвост.

Русалочий.

Бесполезный и губительный для меня здешней.

Задыхаюсь.

Слышу голоса, смех.

– Да брось ты её! Не видишь, поддыхает. Что

ты с ней будешь делать потом, зажаришь?

– В бассейн выпущу. Видел мой бассейн?
Там таких сотня поместится, и тесно им не будет.

– Не довезём, сдохнет.

– Сдохнет – выбросим.

Снова смех, пьяная ругань...

Громкий хлопок.

Яркая вспышка на миг освещает берег маленькой бухты, выхватывая из сумрака испуганные лица моих «спасателей», их чёрное авто, догорающий костёр и узкую песчаную косу, на которой извивается тёмно-серебристое тело.

– Ближе рвануло. Поехали!

Чёрная капля автомобиля отрывается от берега, оставляя глубокие борозды на влажном песке.

Всё.

Теперь я точно не доберусь до воды.

Мне не преодолеть эти рвы-борозды.

Каким-то внутренним зрением вижу, что из машины выскакивает мальчик, подбегает ко мне, и тянет к воде.

Сквозь пелену слышу:

– Прости нас. И не плавай так близко от берега. Живи. Пожалуйста, живи...

Прихожу в себя уже в воде.

Всё глубже и глубже погружаюсь в спасительную прохладу.

Рыба.

Русалка.

Утопленница...

Тонкая и нежная мелодия флейты связывает меня с тем миром.

Словно ниточка.

Какое-то далёкое прошлое, или будущее.

Пуговина, перерезать которую невозможно.

р. с. Пробуждаюсь окончательно, понимаю, что рвануло действительно близко, не во сне, а наяву.

Перепуганный кот у ног. Люди во дворе.

Дождь.

Всё-таки, вытянули?..

Притяжение прошлого

Притягивают вещи с прошлым, с историей.

Но более всего притягивают книги.

Чем больше книгу открывали, чем дольше держали в руках, читали и перечитывали, что-то заучивали наизусть из неё, тем сильнее притяжение.

В таких книгах можно встретить экслибрисы, *nota bene* – заметки на полях, подчёркнутые строчки и закладки, надписи, автографы.

Они хранят в себе нечто большее, чем содержание: проза, стихи, свод скучных правил. Они хранят образы тех, кто касался их страниц.

Однажды, листая пожелтевшие от времени страницы Хрестоматии французской литературы, я нашла засушенный цветок нарцисса.

В воображении возник романтический образ гимназистки, сидящей у окна, с мечтательным взором, устремлённым поверх скучных рассказов из французской хрестоматии в весеннее небо.

Скоро выпускные экзамены, и нужно готовиться. Но покой её похитил красавец-юнкер, живущий по соседству.

На титульном листе дата издания: 1910 год, и дарственная надпись с автографом, сделанная в сентябре того же года.

Я ни на минуту не сомневалась в том, что «Павел Иванович» – тот, кому подарена книга – не кто иной, как отец девочки.

Автор хрестоматии – его давний друг и коллега, гостил у них в сентябре, (или они гостили у него) и подарил только что изданную книгу.

У девочки впереди целых три года безмятежной, счастливой жизни.

Всё, что случится потом, можно назвать одним словом, холодным и страшным: война.

В тёмную ледяную воронку канет девочка, её отец, их дом и сад, как тысячи тысяч других людей, от которых ни останется ничего.

Я не знаю, что случилось с этой девочкой.

Возможно, ей удалось спастись, выплыть, не потонуть в кровавом и бездонном ужасе, обрести приют где-нибудь в Биаррице или в Харбине.

Возможно, что каштановые пряди обрезанных волос её были упрятаны под алую косынку, и сердце надёжно упаковано в кожанку, а душа...

Души и вовсе не стало у девочки, бывшей гимназистки, бывшей дворянки, бывшей папиной любимицы...

Он – папа – теперь и не он, он только биологический отец, он – враг народа.

И нет к нему ни капли жалости у бывшей девочки в душе, и души у неё нет.

Б ы в ш и м души не положены.

Откуда взялась в моей жизни эта история, эта девочка с длинной, аккуратно заплетённой косой, с мечтательным взглядом больших серых глаз?

Кто она мне?

Кто я ей?

Почему именно она возникает передо мной всякий раз, как только я открываю эту книгу?

Она, ведущая лабиринтами чужой памяти, была куплена по случаю – на одном из книжных развалов, и теперь живёт у меня, среди других книг, где нет ни глянца, ни позолоты, а если и были когда-то, то давно стёрлись, осыпались, поблёкли, оставив только то, чему суждено было остаться.

Попытка самоидентификации

Пирог яблочный – «цветаевский», яблоки – украинские, кофе – колумбийский, чёрный, без сахара, лайм – зелёный, тоска... вероятно, тоже зелёная.

Тревога перманентная, неизбывная.

Ты её в дверь – она в окно.

Ты её в окно – она в стихи.

Стихи... тревожные.

Кофейный вдох в турочке – кошачий, мягкий, золотой.

Гуща кофейная в любимой чашке – кошачьим силуэтом.

Очерет. Сумерки. Вода говорит...

С причалом шепчется.
Откуда вода?
Лето.
Лиман.
Леночка...
Вечер за окном тёплый густой, чернильный
и перьевой.
Пирог «цветаевский».
И как не опал от тревоги?
Тревога в стихах.
В пироге... мука, корица, яблоки.
В душе *мука*.
Яблоки – украинские.
Душа – русская.
Дворик – одесский.
Попытка самоидентификации провалилась.

Май 2014 – апрель 2015.

Одесса – Калуга – Одесса



И О ПОГОДЕ...

Послесловие

Казалось бы, всё уже сказано.

Но витает в воздухе что-то недосказанное.

Значит, будет о чём поговорить в будущем, и оно – будущее – будет, и будет следующая книга.

На прощание – несколько слов о том, как и, благодаря кому, появилась эта книга.

Снился город.

Долго не покидало ощущение мягкого света, скорее внутреннего, чем внешнего.

Ощущение старого доброго, очень уютного, – настоящего – дома.

Ощущение близости моря, его дыхания.

Ко всему этому примешивалось ожидание – обитатели города чего-то ждали.

Возможно, новостей, добрых и радостных, потому что давно устали от тревог.

Город был похож на Одессу.

Тот же вольный дух, тот же мягкий свет, то же чувство близости моря.

Наверное, приморские города чем-то похожи, как похожи все города, в которые хочется возвращаться.

Как в родной дом.

Именно таким увиделся мне город на картине «Огни в тумане». Ее авторы – художники из Владивостока Евгений и Оксана Осиповы любезно разрешили использовать картину для обложки книги, за что я ещё и ещё раз благодарю их.

Под обложкой – стихотворения и страницы из дневника с мая минувшего года по апрель нынешнего.

Сегодня, оглядываясь в май 2014 года, я понимаю, что прошла точку невозврата именно тогда.

Что дальше? Не знаю. Будущее туманно и расплывчато. И потому ответы надо искать в прошлом. Оборачиваться и искать, и находить. И иметь мужество признавать, понимать и помнить.

Слишком много тревог, потерь и боли было в ночных и утренних новостях.

Хотелось, чтобы ночные, утренние и вечерние сюжеты новостей стали мирными и добрыми для обитателей всех больших и маленьких городов, сёл и деревень всех стран на Земле.

Для вас, мои дорогие, далёкие и близкие друзья, поддерживающие меня *и сердцем и рукой*. Без вас книга эта не случилась бы.

Надежда Бесфамильная (Москва),
Роза и Юрий Бунчик (Нью-Йорк),
Наталья Мизури (Нью-Йорк),
Марина Шапиро (Москва).
Для тебя, дорогой мой читатель.

С любовью, Людмила Шарга



СОДЕРЖАНИЕ

НОЧНОЙ СЮЖЕТ НОВОСТЕЙ

Стихотворения.....	5
НОВОСТИ С ЮГА.....	6
Безмолвие кариатид	6
О море	8
Неперелётная птица	9
«Обманчиво последнее тепло...».....	11
По осени	12
Синие города	13
С морем говорить.....	15
Старый город	17
Пробуждение	19
«Уже на исходе ноябрь...».....	20
Мимолётные стихи.....	21
ВКУС ДЕКАБРЬСКИХ ДНЕЙ.....	22
Уходят праздники	22
«Из неальбомного...».....	24
Плачет утро.....	25
Лоскутки	27
Черешневое	28
Там, в конце декабря.....	30
Пасторальное	32
Заигралась девочка в куклы.....	34
«Голос иллюзий – эхо пустых комнат...».....	36

И образы восходят к образам...	38
Человек стихов не понимает	39
Колыбельная для матери.....	41
Вкус декабрьских дней	43
УТРЕННЯЯ ПОВЕСТЬ	45
Есть такое чувство – родина.....	45
«Дожди по четвергам...».....	47
Утренняя повесть	48
Обречены.....	50
Два яблока	52
Не о том	53
Показалось.....	55
После жизни.....	57
И кто-то говорит: Иди.....	59
Март начинался.....	61
Последний снег	63
НОЧНОЙ СЮЖЕТ НОВОСТЕЙ	64
Ночной сюжет новостей	64
Не говори мне о свободе.....	65
«Эта книга...»	67
Приезжай.....	69
Абрикосовые косточки	71
«в Старом городе...»	72
Январское. Смотри.....	74
Божья мельница	75
Был майский день.....	77
Попробуй обойтись.....	79
Горечь осенних вод	81
Ненависть	82

Петелька, петелька.....	84
Солоно	86
Вербное. Молитва	87
Линия фронта	89

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ

Из дневника.....	91
-------------------------	-----------

Скатываюсь в риторику.....	92
Справедливости ради.....	99
Не будет прежней Одессы	101
Внешнее и Внутреннее.....	104
Прислушиваясь к себе.....	108
Слушаю дождь	111
Чем дальше, тем ближе.....	115
Не спрашиваю, за что.	
Пытаюсь понять – почему	117
Старьёвщица-память	122
Где-то между Россией и Украиной.....	151
Гадание на кофейном вдохе	181
Притяжение прошлого.....	190
Попытка самоидентификации	193

И О ПОГОДЕ...

Послесловие	195
-------------------	-----

У книгу «Нічний сюжет новин» увійшли нові вірші і фрагменти з щоденника автора.
Книга адресована широкому читачів.

Літературно-художнє видання

Людмила Василівна Шарга
НІЧНИЙ СЮЖЕТ НОВИН

Поезія, нариси
Російською мовою

Директор Борис О. Ейдельман
Головний редактор О. А. Таубеншлак

Формат 70x100/32.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 6,25.

Наклад 100 прим. Зам. № 1505.

Видавництво «Optimum»,
65045, м. Одеса, вул. Спиридоновська, 9
Тел./факс (048) 726-48-98;
Тел.: (048) 794-12-42; (094) 950-42-42

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК № 927 від 23.05.2002 р.

Друкарня ООО «Лерадрук»
67400, м. Роздільна, Одеської обл.,
вул. Леніна, 44.



По вопросам приобретения
книг об истории Одессы,
а также издания книг
любых жанров и тематики
обращаться:

Издательство «Оптимум»

65045 г. Одесса, ул. Флиридомовская, 9

тел. (048) 726 48 98, (094) 950 42 42

(048) 794 12 42

e mail: optimum1@ukr.net